

# Энтони Берджесс

ВРЕМЯ ТИГРА



## Annotation

Британия начинает утрачивать владычество над Малайей, но семена западной культуры уже упали на богатую почву загадочной страны. Какие всходы даст этот посев, можно только догадываться. Молодые англичане – Виктор и Фенелла Краббе пытаются понять непостижимую прелесть бесконечно чужой страны...

О дальнейшем развитии событий и судьбах Виктора и Фенеллы Краббе рассказывают романы «Враг под покрывалом» и «Восточные постели».

---

- [Энтони Берджесс](#)

- 
- 
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [Словарик](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

- [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
-

# Энтони Берджесс

## Время тигра

Посвящается

کشد صحابت ز ساي  
دانه ملايو

Ни одного описанного здесь малайского штата в действительности не существует.

Приходят они и проходят в ночи уверенно: на азиатские равнины (говорит он) слетаются аисты в такой назначенный день, разрывают последним идущего в клочья, заставляя их уйти.

Роберт Бертон.<sup>[1]</sup> Отступление в воздухе

Аллах, несомненно, велик, и Соприкосновение – пророк его («Amours de Voyage»)<sup>[2]</sup>

Господь тоже, конечно, логичен; сам по себе, но только не при хорошей погоде («Хибарка в Тобере-на-Вуличе»).

Артур Хью Клаф<sup>[3]</sup>

– Восток? Да они этот чертов Восток не узнали бы, если б увидели. Даже если его им на блюдечке поднести, не узнали бы. Восток вон где. – Он дико махнул рукой в черную ночь. – А тут запад. Вы там не были, так что не знаете. А я был. С конца войны в палестинской полиции, пока не стали собирать манатки. Вот это был Восток. Вы были в Индии, это тоже теперь уже не Восток, не больше, чем тут. Так что не говорите.

Нэбби Адамс, растянувшийся па кровати, буркнул. Было четыре утра, и ему говорить не хотелось. Он видел путанный цветной сон про Бомбей, пронзенный острыми клыками неоплаченных счетов. Сверх того тяжелая жажда, жажда бутылки тепловатого пива «Тигр». Или «Якорь». Или «Карлсберг».

– Вы с собой пива какого-нибудь привезли? – спросил он.

Флаэрти дернулся, точно марионетка.

– Что я вам говорил? Что всегда говорю? Пускай Бог сей момент разразит меня насмерть, если я только что про себя не подумал, как только приду, вы первым же делом зададите мне этот проклятый вопрос. Пиво, пиво, пиво. Помилуй бог, старина, есть у вас в голове хоть какая-нибудь благая мысль, кроме пива? Допустим, я поставил бы для себя в холодильник несколько бутылок, думаете, не вышло бы как всегда? Вы всей своей тяжеленной огромной распроклятой тушей потащитесь вниз, а за вами вот эта собака забрякает об ступеньки проклятыми жетонами от прививок против бешенства, и все высосете до завтрака, а любому приличному, уважающему себя человеку, придерживающемуся христианского распорядка дня, оставите на полу распроклятые пустые бутылки. Я никакого пива не привез, хотя солдаты щедро расплачиваются за нарушения, заваливали меня целыми кучами этого добра, да еще приговаривали, сколько пожелаете, в любое время, и все по расценкам НААФИ.<sup>[4]</sup>

Нэбби Адамс заерзал на койке, собака заерзала под койкой, медали на ошейнике звякали по полу, словно монеты. Может, встать, попить воды? Он слегка содрогнулся при мысли о чистом холодном нейтральном вкусе. Но жажда, как лихорадка, охватывала все тело. Он медленно поднялся, шесть футов восемь дюймов<sup>[5]</sup> жажды, похожий на привидение за обтрепанной штопаной москитной сеткой.

– Нэбби, я за вас беспокоюсь, – продолжал лейтенант полиции

Флаэрти. – До смерти беспокоюсь. Мне сегодня сказали, будто вы не тот человек, которого я из вас сделал к концу вашего прошлого срока службы. Не тот, богом клянусь. Вы, Христос свидетель, вернулись в прежние джохорские времена, когда тукай<sup>[6]</sup> в конце месяца по всей конторе размахивают счетами, а я вообще ни в один кедай не могу зайти из страха перед широченными, чертовски елейными улыбками на желтых физиономиях и перед вопросами: «Где большой туан?» – да еще: «Туан, получил ли большой туан уже свою зарплату?» – да еще: «У большого туана большой *кира*, туан, и когда он, во имя бога, собирается заплатить?» Боже, старик, я стыжусь своей белой кожи. Как вы опустились. А ведь я вас наставил на истинный путь. А ведь я вас очистил. Посадил на чертов пароход с деньгами в кармане. А теперь на себя посмотрите. – Флаэрти слегка передернулся от негодования. – Я ведь вас покрывал, бог свидетель. В тот день, когда вокруг крутился начальник окружной полиции, а вы снова сидели за пивом в том чертовом грязном кедае, где я постыдился бы показаться, напивались в стельку с тем самым вашим капралом. Сбили его с пути, а ведь он мусульманин проклятый.

– Оставьте его в покое, – сказал Нэбби Адамс. На ногах стоял несколько неуверенно, ища огромной ладонью в табачной смоле опору в туалетном столике. Костлявый, желто-коричневый, высоченный, сделал еще один шаг. Черная сука вылезла из-под кровати, встряхнулась. Брякнули медали. Завилял хвост, когда она глянула снизу вверх, радостно, с обожанием, на огромного мужчину в грязной мятой пижаме. – Оставьте его в покое. Он в полном порядке.

– Господи Иисусе, старик. Я к нему даже тростью не прикоснусь. Я вам говорю, болтают, будто вы опустились, таскаетесь из кедае в кедай со своим распроклятым капралом в хвосте. Почему вы чаще не общаетесь с собственной расой, старик? В Клубе чертовски хорошие вечера, в сержантской столовой сама соль земли, тот самый тип, Краббе, как-то вечером на пианино играл по-настоящему хорошую песню, а вы только рыщете по грязным маленьким кедаям в поисках кредита.

– Я общаюсь с собственной расой. – Нэбби Адамс медленно двинулся к двери. Собака в ожидании стояла сверху на лестнице, чтобы сопровождать его к холодильнику. Хвост глухо стучал в дверь спальни лейтенанта полиции Кейра. – Вы такого не говорили бы, если бы сами не набрались.

– Набрался! Набрался! – Флаэрти заплясал сидя, вцепившись в сиденье, словно боясь, как бы оно не улизнуло. – Вы только послушайте, кто говорит про набравшихся. О боже, старик, на себя посмотрите. Решите,

к какой проклятой расе принадлежите. То сплошной фермерский парень из Нортгемптоншира, а через минуту сплошь прежние времена в Калькутте, и что британцы сотворили с Матерью-Индией, и заклинатели змей, и проклятые храмовые колокольчики. Ох, ради бога, очнитесь. Вы точно англичанин, да говорить разучились на чертовом языке, изгадили его пенджабским, сикхским, бог знает чем. Вы на хинди во сне разговариваете, старик. Разберитесь, ради бога. Хотите надеть набедренную повязку, пожалуйста, сходите с ума, но не ждите привилегий... – (слово слюняво заклокотало; вонзилось иглой в пару дыр), – ...привилегий, привилегий...

Нэбби Адамс медленно спускался по лестнице. Бряк-бряк-бряк, раздавалось за ним, и радостное собачье пыхтение. Он включил свет в большой голой грязной комнате, где ел, сидел и зевал над газетными снимками с братьями офицерами. Открыл дверцу холодильника. Увидел только холодные бутылки воды. В морозильнике пышная снежная постель с инкрустацией из наросшего за месяц льда на металлических стенках. Взял бутылку воды, стал хлебать глоток за глотком, но жажда вовсе не отступала, скорее, стремление выпить по-настоящему достигло непристойного пика. Какой нынче день? Гадал, сбитый с толку, что сейчас – поздняя ночь или раннее утро. За грязными окнами без занавесок плотная чернота, густая, влажная; ни звука, даже далекого петушиного крика. Почти конец месяца, в этом он был уверен, самое большее, еще день-другой. Наверняка, так как надо отчитываться за бензин. Хотя какая разница? Он мрачно смотрел на счета, которые с реверансами маршировали парадом перед внутренним взором.

Лим Кин Суй – \$395

Чи Сип Хай – \$120

Тан Менъ Кван – \$250

И дальнейшие счета вырастают из тени, знакомые, как бородавка или сломанный зуб. И счета питейных заведений. И клубный счет трехмесячной давности. И письмо, написанное его боссу проклятой свиньей Хартом. Харт, казначей и майор полевых войск, радушно принят в приятели султанскими адъютантами, кланяется, складывая пухлые ладони, его высочеству; отлично устроившийся мужчина с большим будущим. «Я его достану, – думал Нэбби Адамс. – Найду проклятую машину. В следующую пятницу отыщу на стоянке «лендровер», он ведь всегда в Клубе по пятницам, а как будет отъезжать, дам как следует в распроклятую морду. Он не должен был так со мной поступать». Гордый, высокий,

невидимый, с булькавшей в животе бутылкой воды, Нэбби Адамс стоял, размышляя о мести, а собака, пыхтя, обожала его.

– Вот это был Восток, старина, Палестина. Вы там не были, так что не знаете. Я все ходил в одно место, где одна девчушка немножко плясала старый танец живота. Знаете, в кино видели. Если нет, значит, вы чертов невежда. Знаете. – Флаэрти встал, неуклюже крутнулся с поднятыми руками, продемонстрировав пропотевшие подмышки некогда белой рубахи. Что-то гнусаво пропел в виде аккомпанемента. Потом сел, глядя, как Нэбби Адамс пошел к своей койке и тяжело рухнул. Собака, бряцая, исчезла под койкой. – Знаете, – сказал Флаэрти, – вам неинтересно, будь я проклят. Ничего не интересно, вот в чем ваша беда, черт возьми. Я поездил по свету, рассказываю про девчушку и чем мы с ней в задней комнате занимались, а вы ни капли внимания не обращаете. Вот. – Флаэрти взял из жестянки на столике у койки Нэбби Адамса сигарету. – Вот. Смотрите. Могу поклясться, и за них не заплачено. Вот. – Прикурил и затягивался, пока кончик ярко не раскраснелся. Потом начал жевать. Нэбби Адамс смотрел, открыв рот, как сигарета исчезает в трудившихся губах. Вся исчезла, включая красный огонек, и не выходила обратно. – Легко, – прокомментировал Флаэрти, – если ты в форме, чего про вас, будь я проклят, не скажешь. Смотрите. – Взял со столика высокий стакан и тоже стал есть.

– Ох, нет, – простонал Нэбби Адамс, слыша резкий хруст. Закрыв глаза, увидел белым по красному:

Кофейня «Веселая» – \$67

Чоп Фат – \$35

– Легко. – Флаэрти сплюнул на пол кровью и стеклом. – Богом клянусь, хороший был нынче вечер. Вот где вам надо было бы быть, Нэбби, выпить с приличными людьми, с солью земли. Посмеяться. Никогда я так не смеялся. Сюда слушайте. Был там старшина малаец. Его Тонгом прозвали, понятно? «Бочка» по-малайски, да вы ведь, невежда, не знаете. Никогда я не видел такого налитого пивом пуза. Ну, рассказал он такую историю...

– Ох, черт возьми, спать ложитесь, – сказал Нэбби Адамс. Закрыв глаза, он лежал, словно мертвый, огромные мозолистые ступни торчали за краем койки, отбросив москитную сетку.

Флаэрти оскорбился, достойно переживая обиду.

– Хорошо, – сказал он. – Благодарность. За все, что я сделал. Признательность. Но я вам продемонстрирую джентльменский поступок.



Мы еще джентльмены там, откуда я прибыл. Обождите. Просто обождите. Вы у меня сейчас себя почувствуете чертовски ничтожным.

И вылетел к себе в комнату. Потом снова влетел. Нэбби Адамс услышал близившееся звяканье. В изумлении и надежде открыл глаза. Флаэрти нес саквояж, покрытый китайскими идеограммами, в саквояже были три бутылки.

– Вот, – сказал Флаэрти. – Какие вещи я для вас делаю.

– Ох, слава богу, слава богу, – взмолился Нэбби Адамс. – Благослови вас бог, Пэдди. – Соскочил с койки, оживленный, проворный, ища открывалку, которая должна быть где-то тут, вон в том ящике. Слава богу, слава богу. Жестяная пробка звякнула об пол, собака ответила звяканьем. Нэбби Адамс поднес к губам пенистую бутылку и напился жизни. Блаженство. Тело напилось, в вены хлынула свежая кровь, электрический свет стал ярче; так или иначе, что значат несколько счетов?

Флаэрти снисходительно наблюдал, наблюдал, словно мать.

– Не говорите, будто я ничего для вас не сделал, – повторил он.

– Да, да, – выдохнул Нэбби Адамс, запыхавшись после первых глотков, всем существом жаждая следующих. – Да, Пэдди. – Поднял бутылку, выпил жизнь до последней капли. Теперь можно позволить себе сесть, выкурить сигарету, праздно выпить другую бутылку. Но постой. Сколько времени? Четыре сорок пять, сказал будильник. Значит, надо снова лечь и немного поспать. Иначе, черт возьми, чем заняться? До момента, когда придет пора отправляться в Транспортное управление, на трех бутылках не продержишься. В любом случае, если выпить другую бутылку, на пробуждение останется только одна. И ни одной па завтрак. Он застонал про себя: бедам его нет конца.

– Эти самые японские татуировщики, – сказал Флаэрти. – Дьявольски ловкие. Богом клянусь. Видел в Иерусалиме одного типа, стойте, вру, в Александрии, когда ненадолго туда в отпуск ездил, и на спине у этого типа была целиком нарисована охота на лис. Дьявольски замечательно. Лошади, собаки, охотники, чертов рожок трубит «ату», даже лисий хвост видно, понимаете, метлу чертову, исчезает у него самого на хвосте. Да что с вами, проклятье? – Он раздраженно крутнулся с суровой, угрюмой морщинистой физиономией. – Ради бога, в чем дело? Я несु домой еду, выпивку, жду хоть какой-нибудь благодарности, хоть какой-нибудь приятной компании, и чего получаю? Одно нытье распроклятое. Проклятое нытье. – И зашагал по комнате, сцепив за спиной руки, повесив голову, сгорбив плечи, мимически изображая живой укор. – Слушайте, – сказал он, – так не пойдет. Знаете, сколько времени, черт побери? Если вы можете целую ночь просидеть, то я

нет. У нас в Управлении куча работы. Помогаем перебить распроклятых бандитов. Пух-пух-пух. – Полил комнату из воображаемого автомата. – Трах-тах-тах-тах-тах-тах. – На деревянных ногах подошел к Нэбби Адамсу, успокоительно положил на плечо руку. – Ничего, Нэбби, мой мальчик, через сто лет, будь я проклят, то же самое будет. Как сказал Шекспир. Слушайте. – Энергично сел, со скрипучей готовностью наклонился вперед. – Шекспир. Вы его никогда не читали, проклятый невежда. Или Робби Бернс. Пил, как собака бродячая. – Удобно откинулся назад с закрытыми глазами и запел с широкими жестами:

О, Мэри, как Лондон красив, аж невмочь,  
Все люди работают тут день и ночь.

– Вы всех перебудите, – предупредил Нэбби Адамс.

– Ну и что, если перебуду? – сказал Флаэрти. – Что они для меня хоть когда-нибудь сделали? Распроклятый Джок Кейр громыкает деньгами в кармане. *Так валлах*, пустозвон. Вагон накопил, рад до чертиков, выпьет чужую пинту, глазом не моргнет, никогда даже слова не вымолвит. Видели, старина, его клубную книжку? Девственная земля. За шесть месяцев, черт побери, апельсиновый сок на три бакса. Где он там, вот я сейчас до него доберусь. – Флаэрти бросил сигару и в ярости выскочил из комнаты. На лестничной площадке позабыл свою цель; послышалось, как он топает и скатывается вниз по ступеням. Нэбби Адамс прислушивался, ожидая услышать звук спущенной в уборной воды, но ничего больше слышно не было. Ничего, только собака искала блох да тикал ржавый будильник. Нэбби Адамс снова улегся в койку, собака, звякая, забралась под нее; тут он сообразил, что не выключил свет. Наплевать.

Нэбби Адамс задремал. Скоро послышался крик биляля во тьме. Биляль, старый, сгорбленный, взобрался по стертым ступеням на минарет, чуть помедлил на вершине, отдышался, а потом пропел первый призыв к молитве, первую вакту долгого индифферентного дня.

– Лаилаха-илла'лах. Лаилаха-илла'лах. Нет Бога, кроме Бога, но кого это волнует?

Под ним и над ним тьма, тьма окутывает бунгало начальника района, два крикливых кинотеатра, питейные заведения, где тукай храпят на своих тюфяках, Истапу – в данный момент пустую, ибо султан в Бангкоке с очередной китайкой танцовщицей, раджа Перемпуап в Сингапуре на скачках, – и грязную пересохшую реку.

– Лаилаха-илла'лах.

Подобно одинокой дочери Рейна, он выпевал высокие текущие звуки, вновь вспоминая совершенное путешествие в Мекку, причем на свои деньги, накопленные с помощью рассудительных ставок на подсказанных лошадей и очень хорошего совета насчет каучука, полученного от китайского бизнесмена. Правда, азартные игры запрещены, *харам*, только очень хотелось добраться до Мекки, стать ходжой. Хаджа туан Хаджи Мохаммед Назир бен Абдул Талиб, и, клянусь Аллахом, все будет прощено. Приобщившись теперь к славе великой мечети Мекки, Масджид-аль-Харам, он слегка презирал суеверных соотечественников. Притворяются напоказ мусульманами и все так же цепляются за свои анимистические верования, кладут на могилы бананы, кормят духов умерших. У него есть авторитетное свидетельство, что инчи Идрис бен Зейиал, школьный учитель, большой человек в Национальном движении, заказал однажды в ресторане в Тахи-Панас яичницу с беконом. Он знает, что инчи Джамалуддин пьет бренди, а инчи Абу Закария тайком ездит по деревушкам во время поста, чтобы там есть и пить без вмешательства рыщущей повсюду полиции.

– Лаилаха-илла'лах.

Бог все знает. *Аллаху аллам*. Таких ждет огонь преисподней, жаркий дом в *нараке*. Омываемый рекой Сад не для них. Он смотрел вниз в черноту, стараясь пронзить ее тонким голосом, стараясь озарить Словом темноту Куала-Ханту. Но город спал. Белые мужчины беспокойно ворочались, видя во сне пинты бочкового пива в зимних английских отелях. Мем<sup>1</sup> спали на смежных кроватях, угнетаемые во сне слугами, с бесстрастными физиономиями слушавшими суровые слова, прикидываясь, будто не понимают кухонного малайского со среднеанглийскими гласными. Лишь в плантаторском бунгало слабо горел свет, но это за городом, в нескольких милях по тимах-ской дороге. Вышел светловолосый молодой человек из Министерства осушения и орошения, сладко просвистев доброе утро пузатому плантатору, который был его другом. Прокрался к маленькому автомобилю, оглянулся, помахал в темноте освещенной веранде.

Мем – госпожа.

– До свидания, Джеффри. Значит, завтра вечером.

– Завтра вечером. И спасибо.

Но вскоре поднялся рассвет, вырос из-за восточного края, как гигантский цветок в фильме о природе. Электрик сцены по уведомлению ударил ладонями по рубильникам, и быстро разлился свет. Небо было

громадное над горами с короной джунглей, над рекой, над лачугами аттап. Малайский рассвет, никем не увиденный, кроме бияля и тамилосадовников, рос и рос, летел ввысь с непристойной тропической быстротой; утро провозгласило себя состоянием, а не процессом.

В семь часов Нэбби Адамс проснулся, протянул руку к оставшейся бутылке. Собака вылезла из-под койки, с долгим зевком потянулась. Нэбби Адамс надел вчерашнюю рубашку, штаны, сунул огромные ступни в старые тапки. Потом тихо спустился по лестнице, сопровождаемый – бряк-бряк-бряк – собакой. Бой-китаец, единственный их слуга, накрывал на стол – некогда белая скатерть, тарелки, чашки, две бутылки с соусом. Нэбби Адамс заискивающе приблизился. Хотя он шесть лет провел в Федерации, не говорил ни по-малайски, ни по-китайски; его языки: хинди, урду, немного пенджабский, нортгемптонширский английский. И спросил:

– Тебе туан Флаэрти деньги вчера давал?

– Туан?

– *Вань, вань.* Есть у тебя *вань*, чтобы купить *макан*? Толстый туан дал тебе *вань*?

– *Туан каси лима линггит.*

*Лима ринггит.* Пять долларов.

– *Давай мне лима ринггит.*

– Туан?

– *Давай сайя лима ринггит.* *Сайя* купит распроклятый *макан*.

Коренастый, безобразный косоглазый бой поколебался, потом вытащил из кармана пятидолларовую бумажку.

– *Туан бели саюр?* Овоссей?

– Да, да. Предоставь дело *сайя*.

Нэбби Адамс вышел из грязного оштукатуренного подъезда маленькой полицейской столовой в крошечный кампунг. Полицейская столовая была некогда родиным домом для жен султанов штата. Выцветшая, обшарпанная, облупившаяся, с изъеденным, не отполированным дощатым полом, она лишь вспоминала о своей плодovитой славе. Теперь здесь нашли пристанище многочисленные пауки, чичаки пристраивались повыше на стенах, буйно плодилось множество насекомых; обтрепанный календарь показывал давно минувшие месяцы. От повара было мало толку. Его единственной квалификацией для обслуживания четырех лейтенантов полиции оставался тот факт, что он сам был полицейским констеблем, уволенным из-за больной ноги. А теперь дорого кормил хозяев супами в банках, сосисками в банках, молоком в банках, сыром в банках, пудингом из говядины с почками в банках, ветчиной в банках. Все, что не было в

банках, внушало ему подозрение; хлеб редко подавался к еде. Крыльцо усеивали растоптанные окурки, умывальню окутывала незапамятная грязь. Упавшая с потолка штукатурка лежала, пока ее не притопчут тяжелые тропические ботинки. Всем плевать, никому не хотелось считать помещение домом. Нэбби Адамс стремился в Бомбей, Флаэрти рвался в Палестину, Кейр скоро вернется в Глазго, Ворпол завел в Малакке китайскую вдову.

Там, где в старые времена массовых царственных родов было поле и тропинка, нынче боролась за существование деревушка. Деревушки возникали теперь где попало; коммунисты-террористы вынуждали правительство переселять давно укоренившееся население кампонгов на новые места, лишённые опасности идеологической заразы и возможности помогать террористам добровольно или по принуждению. Эта новенькая деревушка у окраины города уже выглядела столетней. Шествуя разбитым Кориоланом в тяжелой утренней жаре, Нэбби Адамс видел фирменный росчерк старой Малайи – теплый трущобный уют, вечный, как окружающие горы-джунгли. У колонки обливаются голые коричневые ребятишки, старая крапчатая китайская *ноня* жуёт губами в открытых дверях, молодой отец-малаец с великолепным сложением нянчит новорожденного младенца. Жена его в завязанном под мышками саронге одарила Нэбби Адамса черно-золотой улыбкой. Ни Нэбби, ни собака не ответили. Шли прямо к кедаю Гуан Мо Чана, где Нэбби задолжал около сотни долларов. Смягчит ли пятерка жестокое сердце тукая? Он уже чувствовал, как пот течет под рубашкой, скорее от тревоги, чем от жары. Надо, как минимум, две большие бутылки.

Самый младший сын большого семейства снимал жалюзи – огромные планки, вставлявшиеся в дверь лавки, подобно кусочкам китайской головоломки. Тукай в рабочем костюме – пиджак и трусы – ухмыльнулся, кивнул, посасывая черную сигару. Голова старого идола, лицо желтое, сморщенное, с притворной нарисованной добротой. Нэбби Адамс взмолился:

– *Сайя вань* принес. Завтра *сайя* еще *вань* принесет.

Тукай радостно защебетал-засмеялся, вытащил книгу, ткнул костлявым пальцем в итог.

– *Салатус туджон пуло линггит лима пуло сен.*

– Сколько? – И сам прочитал: \$170.50. Господи Иисусе, как много. – Вот. Дай нам пару бутылок, больших. *Дуа*. Завтра еще *вань* получишь.

Старик с радостным кудяхтаньем взял пятидолларовую бумажку, вручив Нэбби Адамсу одну-единственную пыльную маленькую бутылку

пива «Тигр».

– Жадный старый ублюдок, – высказался Нэбби. – Ну будь человеком.

Ничего не вышло. Он вернулся с одной бутылкой, спрятанной в широкой ладони, иррационально чувствуя себя обсчитанным. Пять долларов. Доллар семьдесят – большая бутылка. Чертов старый ворюга. Мужчина и собака вошли в столовую, застав Кейра с Ворполом уже за завтраком. Кейр в тропическом зеленом ухмыльнулся Нэбби Адамсу снизу вверх, и Нэбби почувствовал потную ненависть к типичной для Глазго гнусавости и самодовольной злобе. Ворпол приветственно жизнерадостно забурчал, купая сосиску в тарелке с соусом. Повар, озабоченно стоя рядом, спросил:

– *Туан бели* овосси?

– Да, – сказал Нэбби Адамс, – их пришлют. – И приготовился подняться по лестнице со своей священной бутылкой.

– Надеюсь, – сказал Кейр, – вы сполна ночью покуролесили. Я глаз не мог сомкнуть, пока вы тут шатались и пели спьяну.

Нэбби Адамс почувствовал, как напрягаются мышцы на шее. Само качество нечистых гласных как-то действовало ему на нервы. Он ничего не ответил.

Ворпол в шутку добавлял к своим восклицаниям малайскую энклитику. Это тоже раздражало, особенно по утрам. Нэбби Адамса раздражало, что это его раздражает, но где-то в чулане сознания жило презрение знающего языка человека к глупой показухе, к звонким маленьким вариациям в словах *валлах* и *чарпой*. Раздражение прогоняла мысль, что Ворпол тип неплохой.

– Пускай паренек позабавится-ла. Сами приняли бы чуток и проспали б, как я. – Ворпол сунул в рот полную вилку, с которой капало, зажевал с аппетитом. – Старичок Нэбби вполне тихий днем-ла.

– А еще Пэдди болен, – продолжал Кейр. – Не смог встать нынче утром. Хоть немного подумали бы о больном человеке.

Нэбби Адамс повернулся для ответа и тут увидел картину, от которой в горле вспыхнула жуткая жажда. С заложенными от пульсации крови ушами он не слышал подъезжавшей машины, которая сейчас скользнула к крыльцу и остановилась. Рядом с полицейским шофером-малайцем сидел начальник транспортной службы контингента<sup>[7]</sup> Гуд; толстый, важный; он теперь хлопнул дверцей, готовый войти в столовую. Нэбби взлетел вверх по лестнице, собака за ним, пыхтя и звякая.

Возя сухой бритвой по подбородку, Нэбби Адамс прислушивался к приветствиям внизу, снисходительным, подобострастным. Бутылка стояла

на туалетном столике и насмешливо ухмылялась ему.

– Адамс!

Адамс. Обычно – Нэбби. Дела, видно, плохи.

– Да, сэр, минуты не пройдет, сэр, – крикнул вниз Нэбби Адамс громким уверенным тоном, мужским, но не без утонченности, который усвоил, будучи полковым старшиной. Рывками натягивал форменную рубашку и брюки, проклиная собаку, любовно вертевшуюся под йогами. Скатился вниз по лестнице, соорудив приветственную спокойную мину, надев маску мужчины, готового начать новый день. Неоткупоренная бутылка ухмылялась в убегающую спину.

– Вот и вы, Адамс. – Гуд стоял в ожидании; сильно отполированный козырек фуражки затенял чистое дряблое лицо. – Едем в Саван-Ленья.

– Сэр. – Кейр и Ворпол стояли на крыльце, ждали транспорта до полицейского участка. – Что-нибудь там стряслось, сэр?

– Слишком много машин сходит с дороги. Что это я за истории про вас слышу?

– Истории, сэр?

– Не валяйте дурака. Вам известно, что я имею в виду. Снова взялись за свое. Я думал, с этим покончено. Так или иначе, всяких баек наслушался в Тимахе, а Тимах отсюда дьявольски далеко. Что происходит?

– Ничего, сэр. Я бросил, сэр. Это дело для дураков. Мужчина в моем положении не может себе позволять, сэр.

– Еще бы, черт побери. Как бы там ни было, мне рассказали, будто на прошлой неделе вас нигде найти не могли, а потом полумертвого подобрали в какой-то забегаловке в Сунгай-Каджаре. Откуда это идет?

– От врагов, сэр. Тут целая куча китайцев против меня, сэр. Хотели, чтоб я подделывал протоколы о происшествиях, а я не стал, сэр.

– Еще бы, черт побери. – Лицо его внезапно туго, болезненно сморщилось. – Господи Иисусе, мне в уборную надо.

Физиономия Нэбби сочувственно смягчилась.

– Дизентерия, сэр?

– Господи Иисусе. Куда идти?

Когда Гуд благополучно закрылся, Нэбби Адамс бешено заметался между двумя неотложными курсами действий – телефон или бутылка? Бутылка обождет. Схватил пыльную трубку. Ответил Фук Он, а Фук Он говорил по-английски.

– Алладад-хан! Где он, черт возьми? Найди его, всех найди. Пускай строятся. Гуд едет. – Обычно Транспортное бюро начинало работу около девяти, так всем было удобно. Официально открывалось в восемь.

Отвечавший по телефону китаец был до сумасшествия городским и медлительным. – Пошевеливайтесь, – торопил Нэбби Адамс. – Уже едет, я вам говорю. – А когда положил трубку, из ватерклозета раздался шум спущенной воды. Нэбби снова сделал лицо к появлению Гуда.

– Лучше, сэр?

– Чертовски поганое дело. Никогда не знаешь, когда прихватит. – Гуд с облегчением сел.

– Может, чашку хорошего крепкого чаю, сэр? Я велю куки, чтоб заварил.

– Да какая от него польза, Нэбби? – (Уже лучше). – Я всю чертовщину уже перепробовал.

– Отлично подействует, сэр. Мне всегда помогает.

Гуд взглянул на наручные часы.

– Знаете, времени у нас не много. До Саван-Леня к вам хочу заглянуть.

– Все в порядке, сэр. По-моему, у него чайник кипит. – Нэбби Адамс двинулся к лестнице, и собака за ним.

– Я вон там вижу вашего повара, – сказал Гуд. – Зачем вам наверх?

– Ох. Я думал, он постели пошел убирать, сэр. – Нэбби Адамс двинулся к кухне, велел: – Приготовь *те* для туана безара.

– Сядьте, Нэбби, – сказал Гуд. – Почему у вас так дьявольски быстро бензин кончается? Перебрали пятьдесят четыре галлона, а месяц еще не кончился.

– У меня папки с бумагами наверху, сэр. Сейчас принесу.

– Да не важно. Потом посмотрю.

– Мне бы хотелось, чтоб вы сейчас взглянули. – Нэбби Адамс снова рванул к лестнице.

– Что-то вы дьявольски суетитесь, а? У вас женщина там наверху, или что? – В этот момент из верхней комнаты донесся покаянный стон. Это был больной Флаэрти. Бог, должно быть, послал ему вкус горше горького.

– Это Флаэрти, сэр. У него лихорадка. Пойду только взгляну, не надо ли ему чего. – Нэбби Адамс решительно шагнул к лестнице. Собака ждала его, поставив лапы на вторую ступеньку, пристально глядя, с радостно болтавшимся языком. Нэбби Адамс едва об нее не споткнулся. – Разрази тебя бог, – сказал он.

– Так с животными не разговаривают, – заметил Гуд. – У меня у самого собака. Иди сюда, старина. – Собака его проигнорировала, следуя за хозяином с торопливым бряцанием бряк-бряк-бряк.

Наверху в своей комнате Нэбби трясущимися руками скovyрнул



пробку. Животворное пиво забулькало в горле. Он с отвращением швырнул пустую бутылку на койку. Потом снова спустился, чувствуя себя несколько лучше, однако в образовавшийся с утолением насущной потребности вакуум хлынуло более сильное, более острое беспокойство: долгий день, денег нет. Робин Гуд языком будет цыкать, проповедник чертов; вранье, увертки, тукай, ждущие своих денег в Саван-Ленья.

– Так вы папку с бумагами не принесли, Нэбби? – спросил Гуд.

– Нет, сэр. Думал, она наверху. Наверно, в конторе, сэр.

Прибыл чай, не слишком крепкий, но очень молочный; на бледной поверхности плавали чайные листья.

– Вы не будете? – спросил Гуд.

– Нет, сэр, спасибо, – отказался Нэбби Адамс. – Я позавтракал.

Гуд выпил чай чересчур быстро. По расчетам Нэбби Адамса капралу Алладад-хану следовало обеспечить, как минимум, еще пятнадцать минут.

– Еще чашечку, сэр? – предложил он.

– Я и эту пока не допил. Нет, пожалуй, больше не буду. Ваш бой готовит дьявольски поганный чай. Сколько вы ему платите?

– Сотню в месяц, то есть на четверых.

– Слишком. Вот когда я был в Пераке, платил за все про все восемьдесят, включая сад и мойку машины.

– В самом деле, сэр? Очень дешево, сэр.

– Ну, нечего тратить весь день на разговоры о плате за труд. – Гуд надел фуражку, медленно поднялся. – Господи Иисусе, – сказал он. – Живот болит дьявольски. Чай – мысль не очень хорошая, Адамс.

– Дайте время, сэр. Отлично поможет. Просто пару минут отдохните.

– Ладно. – Гуд снова сел. – Думаю, не стоит дергаться из-за пары минут, а, Нэбби?

Нэбби Адамс выдохнул благодарение неведомому Богу.

– Нет, сэр. Полно времени. Всего час езды.

– Полтора. Господи Иисусе. – Гуд снова отправился в туалет. Нэбби Адамс утер с лица пот серым носовым платком. Бесшумно прокрался к телефону, нащептал номер, шепнул:

– Он уже на месте? Ну, скорей разыщите. Всех ищите. Пошевеливайтесь, ради бога.

Под шум спущенной воды вошел Гуд.

– Поехали, – сказал он.

– Да, сэр, – сказал Нэбби Адамс. – Только фуражку возьму. – Медленно поднялся по лестнице, прошел мимо двери Флаэрти, слыша тихие стоны. В них была желчь, изжога. Нэбби Адамс взглянул в зеркало, прилаживая

фуражку. Увидел желчно-желтое лицо, оживленное бритвенным порезом. Смертное тело.

Возникли определенные трудности с изгнанием из машины собаки. В конце концов тронулись; старая сука игриво бежала по улице кампонга, вскоре скрылась из виду.

– Надо было вам эту собаку как следует обучить, – заметил Гуд. – Моя так не делает. Животные должны слушаться.

Нэбби, с быстро бившимся сердцем, с пересыхающим горлом, шепнул водителю:

– Черт возьми, не так быстро.

– Туан?

– Ладно, ладно. – Надо на днях в самом деле засесть за язык. Только как-то времени всегда нету.

Миновали тамильскую школу с преподаванием на родном языке, городской паданг, англо-китайскую школу, государственную женскую английскую школу, клуб «Иблис», лавку, торговавшую тодди,<sup>[8]</sup> здания городского совета, мечеть, выстроившиеся в ряд бунгало азиатских чиновников, дальше стоял полицейский участок, рядом с ним транспортная полиция, и теперь Нэбби Адамс сглатывал один тревожный комок за другим, ибо здание казалось пустым, запертым, покинутым, заброшенным... Завернули за угол, въехали на транспортную стоянку, и там, слава богу, выстроилась вся проклятая банда, спокойная, долгие часы ожидавшая, и, когда вылезли из машины, капрал Алладад-хан рывкнул:

– *Тен шун!* – И все встали по стойке «смирно», а Нэбби Адамс, лейтенант полиции, ответственный за транспорт окружной полиции, гордился и радовался.

Вместе с облегчением пришло болезненное желание очутиться в кедае с большой бутылкой «Тигра», или «Якоря», или «Карлсберга» перед собой. Что, конечно, невозможно. Пока Робин Гуд пользовался джамбаном на заднем дворе, Нэбби Адамс поспешно выпрашивал у капрала Алладад-хана займы десять долларов, грамматически чисто говоря на урду.

– Твоя жена уехала. Когда вернется, можно сказать, будто тебе новые штаны надо сшить. А потом купишь, когда я с тобой расплачусь.

– Но мне штаны не нужны. – Трогательные карие глаза над гордым носом Алладад-хана смотрели серьезно, усы образцовые, аккуратные.

– Хотя к ее возвращению я с тобой все равно расплачусь. Так что, может быть, ничего объяснять не придется.

– Обождите, – сказал Алладад-хан. И завел по-пенджабски долгие переговоры с констеблем-сикхом. Вернулся с десятью долларами. – Я у

Хари Сингха занял. Придется женину копилку открыть, чтобы ему отдать, ему деньги сегодня нужны. Я вам дам, а потом в конце месяца мне отдадите.

– Спасибо тебе, Алладад-хан.

Вернулся Гуд и сказал:

– Надо будет крутых яиц поесть по дороге.

Стояло утомительное сухое утро. Они быстро ехали по тимахской дороге, по земле террористов, мимо аккуратных регулярных лесов каучуковых деревьев. Видели рудокопов на оловянных рудниках за работой; видели грузовики, нагруженные латексом; проезжали через деревушки, через один городок побольше под названием Сунгай-Каджар, – широкая главная улица, несколько питейных заведений, афиша синемаскопа, – и к тому времени, как добрались до Саван-Леня, Нэбби Адамс был близок к смерти. Но пришлось ему горбиться над автомобилями, осматривать двигатели, ругать никчемных капралов-механиков. Наконец Робин Гуд сказал, пора завтракать, и все направились в гостиницу.

Гуд заказал порцию жареной рыбы, бифштекс с жареной картошкой и луком, блюдо рубленых ананасов, сметану в банке. Нэбби Адамс сказал, что обойдется бутербродами с сыром.

– Вам надо как следует завтракать, – заметил Гуд, – в таком климате это необходимо. Кажется, слава богу, дизентерия моя чуть полегче. Если хотите, выпейте пива, – великодушно предложил он. – И я с вами маленькую бутылочку «Тигра».

– Нет, – сказал Нэбби Адамс. – Нехорошо опять начинать. С этим покончено, раз навсегда. Лучше совсем отказаться.

– Рад это слышать из ваших уст, Нэбби. Знаете, все конфиденциальные сообщения па ваш счет одно говорят: «Хороший человек, первоклассный, только тянет его к бутылке».

– Больше никогда. – сказал Нэбби Адамс. – Это для дураков.

Гуд за едой деликатно прихлебывал из маленькой бутылочки «Тигра», Нэбби Адамс мрачно играл бутербродом с консервированным белым сыром. Они были одни в единственном помещении, служившем и рестораном и гостиной. Звуков почти не слышалось: только хлюпанье, производившее впечатление, будто все блюда Гуда – суп; медленное чавканье пересохшего рта Нэбби, рокот вентилятора, тьяканье боя-китайца на кухне.

Вскоре Гуд сыто рыгнул, поковырял в зубах, поглядывая на диван из ротанга.

– Всего десять минут второго, – сказал он. – Я только на минуточку. Тяжелое было утро.

– Правда, сэр.

– У вас нету такой дизентерии, как у меня. Просто душу выворачивает.

– Теперь она у вас снова на месте, сэр.

– Я только на минуточку, Нэбби. – И вытянул на диванчике маленькое коренастое тело, скрестил на полном животе руки. Нэбби Адамс за ним очень пристально наблюдал. Глаза закрыты, дыхание как бы спокойное, регулярное. Нэбби на цыпочках прокрался к буфету, по-прежнему щурясь, присматриваясь. Гуд вздохнул, оглянулся.

– Нэбби, смотрите, чтоб я не проспал.

– Ни в коем случае, сэр. – Нэбби Адамс зашипел, приманил боя, проделал серию жестов: изобразил налитый стакан, выпитый стакан, бутылку большого размера, на локоть расставив огромные руки.

Бой громко весело резюмировал:

– Пиво «Якорь».

– Не так громко, старик, черт возьми. – Обезьяньи руки Нэбби Адамса изобразили трепку за волосы, а лицо – дьявольскую маску. Он взял протянутый стакан и бутылку, палил, опрокинул, налил, опрокинул, налил. С дивана раздался сонный вздох. Нэбби Адамс опрокинул остаток, вернулся на цыпочках, сел за стол, – чистое золото.

Гуд открыл глаза и спросил:

– Что там со временем?

– Полный порядок, сэр. Навалом времени. Сосните, сэр.

Гуд повернулся к нему толстым задом. Слава богу. Нэбби Адамс снова пошел на цыпочках к буфету, заказал другую бутылку, прикончил. Начиная чувствовать гораздо лучше. А после следующей почувствовал еще лучше. Старик Робин Гуд, бедняга, неплохой тип. Глупый, коробку передач от запасной крышки не отличит, но не злой. Мир в целом выглядел лучше. Солнце сияло, пальмы дрожали под легким ветерком, мимо окна прошла по-настоящему хорошенькая малайская девушка. С гордой осанкой, в облегающем байю, в богатом саронге, покачивая пышными бедрами. В иссиня-черных волосах какой-то цветок; до чего нежен теплый коричневый цвет плоского, словно чашечка цветка, лица.

– Сколько времени, Нэбби?

Нэбби Адамс нервно сглотнул свое пиво.

– На часах без четверти, сэр, только они, по-моему, чуть-чуть спешат.

– Пять минут нас не волнуют, а, Нэбби?

– Нет, сэр. – Слава богу, не повернулся. Со следующей бутылкой будет

шесть долларов восемьдесят. Это значит, день можно закончить с бутылкой самсу. Нэбби Адамсу не понравился горелый вкус рисового спирта, но не тревожили жуткие рассказы про высокое содержание свинца. Или можно послать куки в лавку, где торгуют тодди; конечно, после наступления темноты, потому что продавать тодди навывнос запрещено законом. Перебродивший пальмовый сок довольно дешевый. Жутко гнилью воняет, да всегда нос можно заткнуть. Вкус тоже не очень хороший: горелая оберточная бумага, но все равно выпивка. Вполне годится. Если б не вкус и не запах, была бы чертовски хорошая выпивка.

Нэбби Адамс прикончил еще бутылку. Приканчивая, услышал, как Гуд с глубокими вздохами и зевками зашевелился, поскрипывая ротангом. Значит, все. Два часа. Он пошел от буфета к столовой-гостиной. Гуд, сидя на краю дивана, протер сонные глаза, потом почесал голову сквозь седоватые редкие волосы.

– Снова за работу, Нэбби.

– Да, сэр.

Весело подскочил бой-китаец со счетом Нэбби Адамса. Нэбби Адамс адресовал ему такой злобный взгляд, что рот боя, открывшийся для объявления суммы, захлопнулся, как крысоловка.

– Эй, парень, давай сюда счет, – велел Гуд. – Я плачу, Нэбби. Ваши бутерброды с сыром меня не разорят.

– Нет, сэр. – Нэбби Адамс в панике перехватил счет. – Я плачу, сэр. Я хочу сказать, давайте каждый за себя заплатим.

– Я плачу, Нэбби. Вы кое-чего заслуживаете за избавление от дурной привычки. Сколько там, парень?

– За мой счет, сэр, пожалуйста, – умолял Нэбби Адамс.

– Ладно. – Гуд зевнул широко, долго, показав задние пломбы и мягко поднявшийся язычок. – Вы должно быть, в деньгах теперь купаетесь, если бросили, по вашим словам. Наверно, целые кубышки накопили. Ладно, в другой раз я заплачу.

Десяти долларов не хватило. Пока Гуд потягивался на веранде, Нэбби Адамс обещал бою в другой раз принести остальное. Бой запротестовал. Нэбби Адамс продемонстрировал шесть футов восемь дюймов кавказской мужественности и предложил свистнуть за два доллара сорок. Бой пошел за тукаем. Нэбби Адамс поспешил увлечь Гуда к поджидавшей машине.

Подлый гад. Нэбби Адамс чувствовал, что с ним поступили несправедливо. День тянулся на земле, пропитанной вонючими отходами карбюраторов, усеянной бензиновыми прокладками. Вечер? Нэбби Адамс простонал в самом чреве. Есть ли горести пуце моей?

Виктор Краббе проспал банг (неудачное персидское слово, означающее слабый неосязаемый звук) бияля, и будет спать до тех пор, пока банг-банг (удачное яванское слово) полудикой зари не принесет ему чай и бананы. Спал он на втором этаже старой, выходившей па реку Резиденции.

Река Ланчап дала свое имя штату. Она брала исток глубоко в джунглях, там, где поилась маленький негроидный народец численностью около сотни, поклонявшийся грому и умевший считать лишь до двух. Водопой он делил с тиграми, гамадрилами, шнуровыми змеями, пиявками, пеландоками и прочей дикой фауной малайских речных верховий. Сунгай-Ланчап вилась дальше, охватывая аванпосты более сложной культуры: малайские деревушки, где знали Коран, где в немыслимо разнообразном пантеоне теснились пророки, нимфы и боги-деревья. Здесь на рисовых заливных полях велись кое-какие работы, достаточные для поддержания растительного гелиотропного существования. Тут была речная рыба, хоть и охраняемая богами-крокодилами устрашающей злобности; падали или сшибались обученными обезьянами, именуемыми бероки, кокосовые орехи; дуриан в сезон дуриана распространял сильнейшее зловоние. Эротические пантуны<sup>[9]</sup> и индуистские мифы развеивали уныние после accidia,<sup>[10]</sup> случавшихся время от времени. С приближением реки Ланчап к побережью появляется более прогрессивная цивилизация: два современных города, Тимах и Тахи-Панас, разжиревшие на олове и каучуке, с крупным населением из китайцев, малайцев, индусов, евразийцев, арабов, шотландцев, братьев-христиан, бледных английских администраторов. В городах эхом звучат колокольчики велорикш, гудки гладких самодовольных американских автомобилей, радио, игравшее сентиментальные пентатонические китайские мотивы, утренний кашель и плевики тукаев, крики Востока. В месте встречи реки Ланчап с Сунгаем стоит царский город Ханту, над которым господствует Метана, выстроенная архитектором из Лос-Анджелеса, благословленная луковичной, как луковица, мечетью, проклятая низким небом и высокой влажностью. Куала-Ханту.

Виктор Краббе спал крепким сном, утонув в темном мире, где история сливается с мифом.

История штата мало чем отличалась от великих соседей, Джохора и Паханга. Один малаккский князь обосновался на реке в эпоху вторжения

португальцев. Он знал прежние времена тишины, праздности, шелковых девушек, разносивших шербет, долгих тонких теологических дебатов с наезжавшими исламскими философами. Португальцы, потев в коротких штанах, вместе с торговлей и спасением душ язычников принесли с собой мелочные заботы. Франциско Хавьер<sup>[11]</sup> проповедовал любовь к чужому Богу, пытался разделить неделимый нумен,<sup>[12]</sup> создать жесткую триединую структуру, открывал школы, где пели мрачные гимны, и, наконец, смирился с дыбой и тисками для пальцев. Потом малаккский царствующий дом принялся подтверждать свою старую гипотетическую претензию на господство над всем полуостровом, или, скорее, над всеми обширными территориями, которые не есть Малакка. Бендахара Юсуф поставил небольшой дворец на болотистом берегу реки Ланчап и постарался направить бешеные, собираемые старейшинами доходы в собственные сундуки. Он оставил в наследство преемникам эту тяжкую задачу, которую не облегчали задиристые аче и вездесущие буги,<sup>[13]</sup> но которую сняла с повестки дня безжалостная жадность фанфароистых голландцев. Сами правители вели непоучительный образ жизни. Яхья никогда не выходил из опиумного транса; Ахмад умер, объевшись засахаренных персидских фруктов; Мохаммед каждый день забивал насмерть, как минимум, одного раба; Азиз заболел сифилисом и умер в восемнадцатилетнем возрасте; у Хусейна была сотня жен.

Виктор Краббе был женат дважды. Вторая жена сейчас сопела и бормотала в глубоком сне, вызванном барбитуратами.

К моменту первого своего назначения Стамфорд Рафлс,<sup>[14]</sup> великий англичанин, еще служа в Правлении Ост-Индской компании в Пинанге, скорбел об упадке Малакки, зубрил малайские глаголы; потом султан Иблис – да помилует его Бог – стукнул могучим кулаком по столу, казнил нескольких буги, подверг пыткам нескольких старейшин, реформировал законы о престолонаследии, централизовал таможню и акцизы, объявил, что у женщины есть душа, и ограничил количество жен четырьмя. Имя его запомнилось, деяния запечатлелись в многочисленных институтах: клуб «Иблис» в царском городе, электростанция имени Иблиса в Тимахе, кинотеатр «Иблис» в Тахи-Панас, школа Корана имени Иблиса в Тукит-Тингги, минеральные воды «Иблис» («Суй Хонг и Компания», Сингапур и Куала-Лумпур).

Виктор Краббе был членом клуба «Иблис», но минеральные воды «Иблис» не пил.

После смерти султана Иблиса снова возникли проблемы. Пять вождей

претендовали на трон, лишь один из них – кронпринц Мансор – имел на то хоть какое-то право. Вернулись тяжелые времена анархии, в воздухе свистели крисы,<sup>[15]</sup> рубили невинные головы, в кампонгах в верховьях реки бушевали грабежи и поджоги, снова появились буги – предвестники, вроде антихриста Дана при епископе Вульфстане,<sup>[16]</sup> – даже заинтересовались сиамцы, уже захватившие Патани, Келантан и Тренггану. И тут вторглись британцы. Мансор бежал в Сингапур, моля помощи губернатора. Да, да, он безусловно примет британского резидента, если ему гарантируют безопасный трон, постоянную охрану и пенсию в пятнадцать тысяч долларов в месяц. Поэтому война постепенно утихла, как ветер, хотя какое-то количество британской крови успело пролиться на негостеприимную землю. Штат начинал процветать. Буйно произрастал каучук, китайцы с лихорадочным усердием добывали олово. Султан Мансор стал англофилом, даже в собственном дворце ходил в твиде, был милостиво принят королевой Викторией, выбрал в качестве гимна штата салонную пьесу в стиле Мендельсона, написанную покойным принцем-консортом,<sup>[17]</sup> зачастил в Сингапур на бега и положил начало традиции азартных игр по-крупному, ставшей с тех пор отличительным признаком царствующего дома штата Ланчап.

Его преемники были светскими людьми, космополитами, обожали новые автомобили, не принимали во внимание многие запреты ислама. Конечно, свинину в штате никогда на банкетах не подавали; с традиционным благочестием практиковались полигамия и конкубинат;<sup>[18]</sup> однако в Истане был отлично оснащен винный погреб, и каждый султан принимал бренди по предписанию врача. Управляли делами в Ланчапе тихо, с умеренной эффективностью, британские советники, – в большинстве своем бесцветные, слишком любящие собственных жен мужчины, питавшие вкус к рыбалке, или к коллекционированию спичечных этикеток, или к написанию компетентных монографий о более или менее приемлемых деревенских малайских обычаях.

Виктор Краббе из Службы просвещения был учителем-резидентом в школе Мансора.

При первом визите в Англию султана Мансора привела в восторг система привилегированных частных средних школ. Ему показали Итон, Харроу, Винчестер, Рагби, Шрусбери, и он возмечтал среди прочего о привилегированной частной школе в собственном штате, в собственном царском городе, которая воспроизводила бы многие отличительные особенности английских прототипов – крикет, пристенный футбол, скрамбл



[19] в последний день Масленицы в канун Пуасы; старшие воспитатели, старосты, фаги, [20] и, разумеется, курс обучения, открывающий дверь к европейской культуре перед маленькими коричневыми мальчиками в итонских воротничках и коротких штанишках. Но рамки, в которые он втиснул свой план, погубили осуществление плана. Космополитом султан был за границей, легко себя чувствовал в отелях западных столиц, а в собственной стране ограничивал кругозор своей кровью и своей рекой. Хотел создать в штате школу для малайской аристократии, но, будучи чадолюбивым и обладая воображением, видел только, что его чресла никогда не произведут на свет достаточного для первого класса количества учеников.

Хотя Виктору Краббе было тридцать пять лет, детей у него не имелось.

Султан Аладдин предпочитал своим женам-малайкам китайских и европейских любовниц и обзавелся детьми любви разных цветов. Он с легкостью понял, что будущее Малайи в целом и Ланчапа в частности покоится не на одних малайцах, но на гармоничном сотрудничестве всех составляющих рас. Он не питал особых иллюзий насчет собственного народа: дружелюбный, привлекательный, вежливый, больше любит отдыхать, чем трудиться; с его помощью полуострову никогда не продвинуться; скорее его функция сводится к напоминанию трудолюбивым китайцам, индусам, британцам о тщетности труда в конечном счете. Он видел в смешении многих культур возможность рождения уникальной и эстетически ценной картины и перед своей преждевременной смертью изложил план создания малайской привилегированной частной школы в письме, которое разослал всем султанам. Написанное на изысканном учтивом малайском, приперченное заимствованными из санскрита и арабского неологизмами, письмо это можно найти в антологиях малайской прозы, – составленных такими учеными, как Ашеиден, Пинк и инчи Реджван беи Латиф, бакалавр искусств, – которые докучают ученикам по всей Федерации.

Фактически визионерский прожект осуществил англичанин, способный школьный инспектор Малайской Федерации по фамилии Покок. Он энергично, с жаром побеседовал с генеральным Резидентом, заразил своим энтузиазмом Резидентский совет, и вскоре сам Верховный комиссар понял ценный смысл образовательного учреждения, которое представляет собой микрокосм британского коллективизма, иной мир, – малайский, и все-таки одновременно символизирующий спокойный процесс управления.

Так в царском городе Мансора возникла школа Мансора. В нее шли

китайцы, малайцы, индусы, евразийцы – все из «хороших семей» (хотя подобная квалификация всегда оставалась неопределенной, она служила лейтмотивом оригинального плана Покока). Учителя приезжали из Англии, Индии и Стрейтс-Сетлментс.<sup>[21]</sup> Школа неуклонно росла, медленно обретала традиции. Через несколько лет климат признали неподходящим для крахмальных воротничков и полосатых саржевых брюк, но со временем нашли адекватную школьную форму: белые полотняные штаны, полосатый галстук и канотье Харроу.<sup>[22]</sup> Многочисленные здания школы представляли собой целый музей колониальной архитектуры, от оригинальных лачуг аттап через оштукатуренные палладианские сооружения до пылающих стеклянных творений Корбюзье на высоких подпорках. Все предметы преподавались по-английски, и случавшиеся время от времени перекосы в программе обучения внушали многим питомцам презрение к богатым родным культурам, после чего они, лишившись расы, стремились на самый что ни на есть дальний Запад. Поэтому киномифы и газетные комиксы спланивали разные расы гораздо сильнее, чем набор мячей для крикета, отрывистые упрёки и похвалы наставников.

Виктор Краббе преподавал историю.

Директора приезжали и уезжали; все они принадлежали к Службе просвещения, работали хорошо или плохо, но всегда уходили, либо на пенсию, либо на менее обременительные посты. Одни руководили так, как привыкли на месте классных руководителей в крутых лондонских или ливерпульских средних школах; их ставили в тупик слезы усатых шестиклассников, стены невозмутимости в начальной школе, молчаливые заговоры, превращавшие правила в нуль. Во время жестокого правления ненавистного Гиллеспы одного учителя зарубили топором, другой был зарезан ножом. Для убийства самого Гиллеспы с помощью симпатической магии был нанят местный паванг, но Гиллеспы оказался слишком крепким или нечувствительным к смертельным волнам, которые источала изображавшая его фигурка, проткнутая булавами. Директора, ворковавшие о любви к азиатам, обнаруживали, что любовь заразительна, а Эрос проникает в дортуары в двух из множества своих божественных видов. Вдобавок они сталкивались с остракизмом в Клубе, упрекаемые в предательстве Британского Образа Жизни. Только одного директора убрали за педерастию – с сожалением, ибо он был прекрасным крикетистом. Проблема руководства казалась непреодолимой. Хоть какое-то подобие малайского единства возникало только при тиранической дисциплине;

когда верх брала более мягкая гуманность, китайцы воевали с малайцами, китайцы и малайцы воевали с индусами, индусы воевали друг с другом. Лишь одному единственному раз удалось прийти к компромиссному твердому либерализму. Это был Роберте, ученый-ориенталист, глубоко разбиравшийся в людях, с теплым обаянием. Но при нем стал испаряться дух привилегированной частной школы. Перестали играть в крикет, так как выяснилось, что весьма немногие мальчики в нем разбираются; два года прошли без Дня физкультурника; директора видели на работе в саронге. Робертса перевели в Келантан на незаметную должность. Порой подумывали о приглашении американца, возможно, способного, благодаря сочетанию фамильярности и экзотики с магическими саундтреками на устах, внушить мальчикам сильную религиозную преданность. Но американец мог принести с собой бейсбол. Кроме того, подобное приглашение было бы полным предательством идей, на которых стояла школа Мансора, капитуляцией перед культурой, которой, несмотря на ее непреодолимое глобальное распространение, следовало сопротивляться как можно дольше. Однажды по контракту пришел австралиец, но он слишком часто ругался. Поэтому дело по-прежнему сводилось к паллиативу и второсортности. При Викторе Краббе директором был человек по фамилии Бутби с третьесортной, полученной в Дареме степенью, спортсмен с брюшком, любитель виски с водой и быстроходных автомобилей, член популярного книжного клуба, обладатель массы долгоиграющих пластинок, приглашавший на завтраки с кэрри и говоривший: «Присаживайтесь».

Виктор Краббе заведовал пансионом.

Проблемы с организацией пансионной системы в школе подобного типа частично были решены с помощью беспомощного компромисса. Сперва предлагалось назвать пансионы в честь главных пророков – Наби Адам, Наби Идрис, Наби Иса, Наби Мохаммед, – но все, за исключением мусульман, возразили. Тогда микрокосмически приемлемым показалось распределение мальчиков по пансионам, носящим названия их родных штатов. Однако вышло так, что некий обскурантист султан и некий Союз тайных китайских обществ, независимо друг от друга, запретили в одном штате оказывать новому учебному заведению любую финансовую поддержку. Поэтому получилось, что в школе Мансора эту богатую и значительную территорию представляли евразиец, сын бенгальца-ростовщика, тамил, и тупой, но радостный сикх. Сами учащиеся настаивали через старост на преимуществах расового разделения. Китайцы боялись, как бы малайцы не начали буйствовать в дортуарах и пускать в ход

ножи; малайцы заявляли, что на дух не выносят индусов; разнообразные индийские расы предпочитали вести вендетту только между собой. А еще вопрос о пище. Китайцы криком кричали, требовали свинину, *харам*, ненавистную для мусульман; индусы, невзирая на уговоры заведующей хозяйством британки, совсем мяса не ели; другие индусы требовали жгучего кэрри, их желудки не принимали пресного малайского лаука. В конце концов пансионеры называли в честь бриттов, помогавших строительству новой Малайи. Распределение по пансионатам велось произвольно: в дортуарах гудели разные молитвы на разных языках, и все были вынуждены есть холодный рис с тепловатым лауком из мяса буйволов или с овощами. Никто не был доволен, но никто не мог придумать ничего лучшего.

Поэтому Виктор Краббе занимал пост заведующего пансионом Лайт, названным в честь Фрэнсиса Лайта, основателя британского Пинанга. Многие говорили, что пансион назван не очень удачно: нету там академических светочей. Тем не менее пансион Берч (подачка тени убитого резидента в Пераке) получал лишь обычную долю розог, не больше; пансион Рафлс не больше других проявлял интерес к Федеральной лотерее; пансион Лоу (поименованный в честь великого Хью) нередко высоко поднимался в играх и спорте. Таким образом, в конечном счете названия не содержали намеков на эпонимы.<sup>[23]</sup> Они свидетельствовали лишь о слабом воображении тех, кто их выбирал.

С приближеньем рассвета Виктор Краббе беспокойно заерзал, крепко зажмурился, сморщил лоб. Отмахнулся от чего-то.

Куала-Ханту, культурный центр, был также и центром деятельности коммунистов. Можно сравнительно безопасно ходить ночью по городу, только не следует чересчур углубляться в заросли. Однажды граната попала в кедай, где ополченцы сидели за выпивкой; на столиках в кафе и в давно оставленных на стоянке машинах оказались листовки, призывавшие азиатов уничтожить белых капиталистических паразитов. Приблизительно в миле от города, на дорогах в Тимах и Тахи-Панас, участились «инциденты». В каучуковые поместья террористы наведывались, когда заблагорассудится, с непредсказуемыми интервалами; рубили долбильщикам головы, выпускали кишки; за подобной церемонией следовали разглагольствования насчет Братства Людей и Всемирной Федерации. В поместье Грантам, в семи милях от Куала-Ханту, сменились пять управляющих за два года. Плантатор носил оружие не в надежде одолеть террористов, а предпочитая выпущенным кишкам чистый конец от пули. Ланчап, наряду почти со всеми прочими штатами, находился в

состоянии войны. Даже рядом с красивым магазином «Блэкторн бразерс» в Тахи-Панас можно было увидеть стоявший бронированный автомобиль, пока мем в летних нарядах делали покупки. По дорогам тряслись военные конвои, окна дребезжали от бомб, гудели над потайными местечками в джунглях разведывательные самолеты. Водитель машины, надеясь еще разок проскочить, прибавлял скорость на нехороших девяти милях, выпускал в конце очередной благодарственный вздох и тут видел ствол дерева поперек дороги, а вскоре из зарослей появлялись с ухмылкой желтые мужчины. Некоторые считали, что война никогда не закончится. Войска направлялись в дымившийся паром кошмар, полный пиявок, и раз за разом возвращались с угрюмыми пленными, носившими имена вроде Цветка Лотоса, Рассветной Лилии или Изящного Тигра. Но не было ни решительных сражений, ни реальных побед. Вновь и вновь выстрелы, вытянутые кишки, удушение, тоненькие ручейки войск в тропическом зеленом, колоссальные потери; анархические времена буги и аче в конце концов казались не слишком далекими.

Виктор Краббе проснулся в поту. Ему снилась первая жена, которую он убил восемь лет назад. На следствии с него сняли все обвинения, коронер слишком красноречиво и гласно ему соболезновал. Машину занесло на январской дороге, она взбесилась, полностью вышла из-под контроля, пробила хилое ограждение на мосту и стала падать – сейчас, в оживившем кошмаре кошмара, он чувствовал в желудке, как его спящее тело вновь и вновь падает, – бесконечно падать, пока не пробила лед и ледяную воду под ним, не начала тонуть с тяжелыми громкими пузырями. Легкие у него взорвались, он дотронулся до неподвижного тела на пассажирском сиденье, отчаянно рванул свою дверцу, вынырнул, задохнувшись, как бы преодолевая сажень за саженью пузырящийся ледяной свинец. Это было давно. С него сняли все обвинения, но он знал, что виновен.

И теперь испытывал благодарность к жаркому малайскому утру, к знакомому быстрому шлепанью босых ног Ибрагима, который нес на веранду дребезжавший поднос с одним прибором. Фенелла, живая жена, долго еще будет спать, убивать во сне жаркое утро. Она хочет уехать домой, но без него бы домой не уехала. Хочет, чтоб они были вместе. Верит, что любовь ее не безответна. В определенной мере так оно и было.

– Морден или Сербитон с пальмами. Обветшавший Борнемут в глубинке. Мелкие пригородные умишки. Бридж и сплетни. Чай и сплетни. Теннис и сплетни. Сборища Красного Креста, вязанье и сплетни. Смотри. – Сидя с ним в пустом Клубе, она показывала помер «Кантри лайф». – За три года вполне можем скопить на покупку. Если постараемся. Идеально для

частной школы.

Или, развалившись в стандартном кресле, предоставляемом Министерством общественных работ, выпивая под ветерком вентилятора, выдыхала:

– Дьявольски жарко. – В январской Англии не так дьявольски жарко. – Хоть когда-нибудь будет прохладней?

– Мне жара нравится.

– Я и сама так думала. Привыкла в Италии. Дело, наверно, во влажности.

На влажность многое можно было свалить: необходимость в сиесте, набранный лишний вес, поездку в автомобиле за сто ярдов, плесень на обуви, потные пятна под мышками на одежде, пробранный роббер в бридже или теннисный сет, неприязнь к стране в целом.

– Мне страна вполне нравится.

– Ну что тут может нравиться? Паршивые ребяташки, пузатые плюющиеся торговцы, террористы, грабители, скорпионы, эти чертовы оводы. И шум радио, и вечный крик. Они глухие все, что ли? Где блистательный Восток, о котором столько толков? Просто жуткая потная пародия на Европу. Я не встретила ни единой души, с кем можно было бы поговорить. Одни слабоумные из Малайского полка да плантаторы-деревенщины; что касается жен...

– Мы же вместе. Друг с другом можно разговаривать.

– Зачем нам для этого надо сюда было ехать? В Лондоне гораздо удобней.

– Здесь лучше платят.

– И все в трубу вылетает. Видел счет из холодильника за этот месяц? Вот это вот платье в «Блэкторне» – восемьдесят долларов, а под мышками уже расползлось.

– Да. Я тебя понимаю.

Съев два банана, выпив три чашки чаю, Виктор Краббе стоял во второй ванной голый и брился. Между первым и вторым движением бритвы утро полностью развернулось из бутона в цветок. Сквозь планки жалюзи на матовом стекле Краббе видел спускавшуюся террасами лужайку, худых черных тамил-садовников, которые изо всех сил поливали со сварливыми криками. Цветами страна не богата, но в полуобщественном саду Резиденции росли бугенвиллии, гибискус, красный жасмин, дождевые деревья и одинокий баньян. За дорогой, граничившей с нижней террасой, Ханту встречался с рекой Ланчап, представлявшей собой сейчас скудный поток. Вода дурно пахла соленой

гнилью, на редких грязных островках костями лежали и сохли велосипедные шины, палки, железки.

В определенном смысле неверность второй жене – дань уважения первой. Его мертвая жена жила во всех женщинах. Бесцельные шатания по примеру отца, упрямая верность воспоминаниям, возложение на могилу цветов, которые потом засушиваются со слезами жалости к себе. Некрофилия. Он многому научился у своего отца. Тело жены сожжено и развеяно в пар, стало атомами, растворенными в воздухе, в жидкости, его можно вдохнуть, выпить. Память значения не имеет. История – не память, а живая картина. Сны – не воспоминания.

Руки, разбиравшие безопасную бритву, дрожали, стальная пластинка со звучным дребезгом упала в раковину. Видя сны, ты – не ты. Тебя что-то использует, что-то глупо злобное, высунувший язык идиот, в распоряжение которого тысяча вольт.

«Но почему у тебя до сих пор это чувство вины? Почему ты больше не плаваешь и не водишь машину?»

«Нервы, – отвечал он. – В нервах что-то засело. Я снова женился ради успокоения нервов. А сейчас думаю, это ошибка, впрочем естественная. Возможно, отсюда фактически чувство вины. Это было нечестно по отношению к ней. Незабывтая мертвая жена и осязаемая живая в какой-то мере отождествляются. Во всяком случае, их отождествляют сильно истертые проводочки в мозгу. Тогда видишь ее в ложном свете, судишь, взвешиваешь, сравниваешь. Мертвая женщина оживает, а мертвых оживлять нечестно, противоестественно. Мертвые разлагаются, распадаются на атомы, пылью в солнечном свете, осадком в пиве. Факт любви остается, а мертвых любить невозможно по самой природе вещей. Любить надо живых; живые, разложившиеся, распавшиеся на атомы в конкретных телах и умах, никогда не будут близки, никогда не будут важны. Ибо когда кто-то значит больше других, нам придется вернуться назад, снова отождествлять, с неожиданным ошеломлением противопоставлять, и опять возвращать к жизни мертвых. Мертвые мертвы».

«Значит, распылять и разлагать на атомы ту любовь. А как насчет нее, спящей там, в большой темной спальне, она чего заслуживает? Все это было ошибкой, не надо было этого делать. Она заслуживает целого моря жалости, вкусом и видом похожая на любимую».

Виктор Краббе надел чистые накрахмаленные белые брюки, прохладную, с запахом свежести, белую рубашку с открытой шеей. Тихо проделывал это в спальне, подняв на одном окне жалюзи, впустив немного света. Не обязательно было стараться хранить тишину, это просто

привычка. Она спала медикаментозным сном. Если что-нибудь может ее разбудить, только скандал в дортуарах, топот мальчишек в столовой, крики старост, звяканье велосипедных звонков, хруст ног по гравию на дорожке внизу. До середины дня не проснется. Он подхватил со стула у письменного стола в гостиной свой кейс с плесенью под защелками и направился к двери, которая вела из квартиры в мальчишеский мир. Вращающаяся дверь столовой его квартиры скрипнула, и Ибрагим мягко сказал:

– Туан.

– Чего тебе, Ибрагим? (Люди говорили: «Не знаю, за каким чертом вы держите этого парня. Про вас про самого начнут болтать. Как-то вечером его видели рядом с кино в женском платье. Знаете, хорошо, что вы женаты. Его вышвырнули из офицерской столовой, где он крутил задом и приставал к мужчинам. Может, он повар хороший и прочее, но все-таки... Вы бы поосторожней».)

Извиваясь, Ибрагим прогнусавил:

– *Минта беланджа, туан.*

– Да ведь всего три дня до конца месяца. Что ты с деньгами делаешь?

– Туан?

– Сколько тебе?

– *Лима ринггит, туан.*

– Купи себе на них заколки для волос, – по-английски сказал Краббе, протягивая пятидолларовую бумажку. – Мем говорит, ты у нее их таскаешь.

– Туаи?

– Ладно.

– *Терима касен, туан.* – Ибрагим, извиваясь, сунул бумажку на грудь под саронг.

– *Сама, сама.* – Виктор Краббе открыл тонкую дверь, отделявшую его от мальчиков в пансионе Лайт, и медленно спустился, боясь поскользнуться на стертых ступеньках, вниз по широкой, некогда столь импозантной лестнице. Внизу ждал дежурный староста, Нараянасами, с живым лицом богатого черного цвета над белой рубашкой и брюками. Вестибюль был полон мальчишек, отправлявшихся в главное здание школы, контрапункт колорита, объединенный pedalной нотой белоснежной униформы.

– Сэр, мы стараемся заниматься, так как уже в скором времени должны сдавать экзамены, а младшие мальчики не понимают важности наших занятий и устраивают настоящий сумасшедший дом, когда мы погружены в учебу. Нам, законно избранным вышестоящим, непомерно дерзят, недостаточно повинуются нашим частым угрозам. Я считал бы неоценимой услугой, сэр, если бы вы им всем сделали строгий выговор и подвергли



словесному наказанию, сэр, особенно малайцев, жестоко пренебрегающих уважением, а также не соблюдающих дисциплину.

– Очень хорошо, – сказал Виктор Краббе, – сегодня за обедом. – Раз в неделю он обедал с мальчиками. Преследуемый почтительными приветствиями, прошагал вниз по треснувшим каменным ступеням, пролет за пролетом, дошел до дороги к главному школьному зданию. У него, единственного из европейцев в Куала-Ханту, не было автомобиля. Пока добрался до Военного Мемориала, рубаха на груди промокла.

Жители Куала-Ханту смотрели, как он идет. Безработные малайцы в поношенных белых штанах, присев на низком парапете общественной колонки, обсуждали его.

– В школу идет. Машины нету. А ведь он богатый.

– Деньги копит, чтоб быть еще богаче. Вернется в Англию с полными карманами, больше не будет работать.

– Умно. Он не ребенок, кушающий бананы.

Два старика хаджи, сидевшие у дверей кофейни, беседовали друг с другом.

– Птица-носорог сочетается между собой, ласточка тоже. Не подобает белому мужчине идти на работу пешком, как работнику.

– Сердце у него не гордое. Войдешь в козлиный загон – блей; войдешь в воловий – мычи. Вот как он думает. Хочет казаться простым человеком.

– Поверю, когда у кошки рога вырастут.

Иссохший попрошайка, надеясь с утра пораньше получить немного кофе, вставил:

– Вода у него сквозь пальцы не вытечет.

Хаджа продолжал более благосклонно:

– Воистину, черная птица по ночам летает. Но не примеряй на себя чужую одежду.

Жена китайца, хозяина магазина, окруженная ссорившимися детьми, сказала мужу на протяжном хакка:<sup>[24]</sup>

Ходит все время.  
С потным лицом.  
Богатые рыжие псы  
Платят, сколько попросим.  
Но изо дня в день  
Идет он пешком,  
Не имея машины.

Лупоподобное лицо ее в белой пудре лишь короткое время изображало легкую озадаченность. Потом под страстное бряцание струн и маленьких треснувших колокольчиков она бросилась к скулившему ребенку, которого собратья толкнули в мешок с сахаром.

Индусы, писари писем, ожидавшие клиентов, вставив в машинки чистую бумагу с копиркой, приветствовали Виктора Краббе улыбками и взмахами. Пару раз в дни Коронации, Юбилея и Фан-Хуа он выпивал с ними пива, обсуждал гиблые времена.

Проходя мимо жалкого маленького кабаре «Парадиз», Виктор Краббе сглотнул поднявшийся в горле комочек вины. Здесь, в поисках выпивки и часа уединения, он встретил Рахиму, единственную платную танцовщицу, которая разливала пиво, меняла пластинки, шаркала по полу с посетителями. Маленькая, светло-коричневая, коротковолосая, в европейском платье, любезная, услужливая, очень женственная. Она была разведенной, муж ее вышвырнул под каким-то ничтожным предлогом, поддержанный мрачной мужской силой исламского закона. У нее был один ребенок, мальчик по имени Мат. Перед малайскими разведенками открывались лишь две несложные профессии, и на практике высшая включала в себя низшую. Платная танцовщица в подобных заведениях мало зарабатывала, а нисхождение от полигамного супружества к проституции казалось простым оступившимся шагом. Виктору Краббе хотелось верить, будто она ничего ему не продавала, а десятидолларовая бумажка, тайком сунутая в ее теплую нежадную руку, – знак признательности, жест помощи. «Купи что-нибудь Мату». У нее в комнатухе он чувствовал, что как бы проникает в сердце страны, самого Востока. И вдобавок умиротворяет беспокойный дух. Нельзя только слишком привязываться к Рахиме. Любовь следует разложить, распылить, подобно тому самому любимому телу. Фенелла верила, что он ходит на школьные диспуты, на собрания Исторического общества. Скоро надо порвать эту связь. Но должны возникнуть другие.

Стареющий сикх, высоко сидя в телеге с навозом, царствуя над двумя мирными волами, закручивал на место, засовывал под распушенный тюрбан клочки седых волос. Лицо его – одна борода – улыбалось Виктору Краббе. Краббе махнул рукой, вытер пот со лба. Мальчики по дороге в китайскую школу смотрели на него снизу вверх с характерным для юных китайских лиц напряженным любопытством. Виктор Краббе свернул за угол у полицейских казарм. Если бы только школьные здания не были так разбросаны, вроде оксфордских колледжей. Правда, надо носить в кейсе сменную рубашку. Он посмотрел на маленьких кошек с загнутыми

хвостами, охотившихся на кур в сухих муссонных дренажных канавах. Нога его наткнулась на выводок стручков пальмового дерева, похожих на сегменты почерневшей велосипедной шины. Он уже был рядом с главной школой.

Капрал Алладад-хан, еще не ведая о срочных телефонных звонках, ожививших Транспортное управление, не спеша бреясь, разглядел Виктора Краббе, слишком быстро для местного климата шедшего на работу. Он не видел в ходьбе пешком ничего неестественного. Сам он, Алладад-хан, проводил теперь жизнь среди машин с моторами и порой тосковал по старым деревенским временам в Пенджабе. Любил чувствовать под ногами твердую землю, а еще лучше – теплые движущиеся бока лошади между коленями. Машины с моторами мучили его во сне, лишние детали и отверстия для лишних деталей жалили, словно москиты. Желание мужчины не иметь ничего общего с машинными двигателями казалось разумным и даже похвальным. Однако...

Капрал Алладад-хан провел по горлу опасной бритвой и слегка порезался. И выругался по-английски. По-английски он знал только вот что: названия машин и машинных деталей; армейские термины, включая словесные команды; марки пива и сигарет; ругательства. Он давно служил в армии в Индии – пошел тринадцатилетним мальчишкой, неправильно указав возраст. Теперь, в тридцать, видел впереди еще десять лет, прежде чем можно будет уйти из малайской полиции с пенсией и вернуться в Пенджаб. Однако...

– Проклятая лгунья! – сказал он бритве. – Пошла в ж...! – Она дурно вела себя нынче утром. Он фактически не любил даже простейших приборов. Даже у бритвы была злобная гадкая душонка, которая ухмылялась над ним синевато поблескивавшим металлом. – Дура, гадина! – Можно было вслух ругаться, потому что жена его, немного знавшая по-английски, уехала в Куала-Лумпур пожить у своего дяди с теткой, занимаясь чрезмерными и ленивыми приготовлениями к рождению ребенка, их первенца. Алладад-хан никаких детей не хотел. Он был не слишком правоверным мусульманином. Были у него шокировавшие жену идеи. Однажды он сказал, будто его не ужасает мысль о съеденной свиной колбасе. Любил пиво, хоть и не мог себе много позволить. А теперь, когда Адамс-сахиб потребовал взаймы, мог еще меньше позволить. Смотрел английские и американские фильмы с поцелуями и как-то предложил жене испробовать эротическую новинку. Она пришла в ужас, обвинила его в извращениях, в самом черном чувственном разврате. Даже пригрозила пожаловаться на него своему брату.

При таких ее речах он счел полезным малайское выражение «тида'ана». «Тида'ана» значило гораздо больше, чем «наплевать» или «кому какое дело». Было тут нечто неуловимое, удовлетворявшее, подразумевавшее, что вселенная устоит, солнце будет светить, дуриан – осыпаться, что бы она или еще кто-нибудь ни сказали, ни сделали. Ее брат. Вот в чем вся проблема. Ее брат, Абдул-хан, командир районной полиции, большой человек, неженатый, учившийся в английском полицейском колледже, самостоятельно многому научившийся. Ее родители – их родители – умерли. Брату пришлось устраивать ее брак, и, естественно, она должна была выйти за Хана. Что б он ни делал, какое бы положение ни занимал, только бы не слуги (каковым, разумеется, Хан никак не мог быть), ей требовался Хан. Ну, Хана она и получила, его самого, Алладад-хана. Алладад-хан мрачно посмеялся в зеркало, прежде чем смыть с лица мыло после бритья, и подровнял усы маникюрными ножницами. Он был хорошим мужем, верным, осторожным с деньгами, любящим, умеренно страстным; чего ей еще желать? Ха! Дело не в том, чего она желает, а в том, чего хочет он, Алладад-хан.

Он застегивал рубашку в маленькой гостиной, сардонически глядя на свадебную фотографию. Когда снималась фотография, он знал ее ровно два часа десять минут. До того видел снимок; она на него посмотрела в дырочку в занавеске, но они между собой ни разу не разговаривали, не держались за руки, не делали той ужасающей эротической вещи, которой полны английские и американские фильмы. Вот-вот предстояло начаться военной кампании ухажерства. Вот он, на фоне фотографических пальм в кадках, неуклюжий в лучшем костюме, в сонгкоке; она уверенно кладет руку ему на колено, демонстрируя фотографу-китайцу крепкий длинный нос, каннибальские зубы. Аллах, про ухаживание ей все было известно.

Однако теперь его мысли во многом заняла мем-сахиб, миссис Краббе. Он с ней никогда не встречался, но, потя на жаре, часто видел, как она пешком идет в Клуб или по магазинам. Пусть Краббе, учитель, не хочет иметь машину, только нехорошо, что его жена вынуждена ходить под солнцем, с поумневшими от пота на лбу золотистыми волосами, с усеянным потом нежным белым лицом, в платье, запятнанном на спине и оскверненном потом. Алладад-хану часто приходилось подавлять безумное желание выбежать к ней, проходившей мимо Транспортного управления, и предложить «лендровер», «А-70», старый «форд» или любую машину, изнававшую от духоты во дворе, вместе с полицейским шофером, который в первую очередь должен себя прилично вести, не харкать, не рыгать, не опускать стекло со своей стороны, чтоб туда плюнуть. Но робость его

удерживала. Он не говорит по-английски; не знает, говорит ли она по-малайски. Вдобавок остается вопрос о приличиях, о морали. Кто он такой, чтобы выбежать в грубых ботинках, остановиться с ней рядом, страшно щелкнуть каблуками, деревянно отдать честь и сказать: «Мем-сахиб, я смотрю, как вы ходите по жаре. У вас солнечный удар будет. Разрешите мне предоставить вам транспорт, куда пожелаете ехать», или еще какие-нибудь слова с тем же смыслом. Немыслимо. Но обязательно надо с пей встретиться, хотя бы поближе увидеть, рассмотреть голубые глаза, оценить стройные формы, услышать английскую речь. Он считал, что в Кашмире бывают голубоглазые женщины, но у этой мифической англичанки еще и волосы светлые. Обязательно надо с ней познакомиться. Вот где поможет лейтенант полиции Адамс. Это будет небольшая расплата за множество небольших ссуд, с отдачей которых он его не торопит. Англичанка, которая ходит пешком; перед началом остался один барьер, барьер элегантно захлопнутой синей, красной, зеленой дверцы, спокойное достойное ожидание приказа, куда ее везти.

Мечты прервало появление маленького пожилого шофера-малайца, Касыма, так никогда и не овладевшего философией двигателей, который жутко отхаркивал горлом мокроту и взялся за непосильную задачу содержания на шоферское жалованье двух жен. Касым сказал:

– Большой мужчина по телефону сказал. Тут другой большой мужчина из Тимаха. Транспорт будет сейчас проверять.

– Нет Бога, кроме Аллаха, – благочестиво молвил Алладад-хан. И вымелся в сопровождение Касыма. Он колотил в двери, ругался, угрожал, рассылал лихорадочные сообщения, ворвался в Транспортную контору, побил по щекам двух шоферов малайцев, пробуждав от летаргии, осмотрел покрышки, осмотрел униформу, осмотрел ряды автомобилей. Вскоре созвал своих людей. Потом услышал приближавшуюся машину, страшную, как Джаггернаут. Увидал, как машина въехала на транспортную стоянку, и там, слава богу, выстроилась вся проклятая банда, спокойная, долгие часы ожидавшая, и, когда вылезли из машины, капрал Алладад-хан рявкнул:

– *Тен шун!* – И все встали по стойке «смирно», а Нэбби Адамс, лейтенант полиции, ответственный за транспорт окружной полиции, гордился и радовался.

Виктор Краббе стоял перед своим классом и знал: что-то неладно. Ряд за рядом исследовал лица, слегка вспененные в молчании двумя потолочными вентиляторами. Лица смотрели на него в ответ, серьезные, взрослые – желтые, золотые, желтовато-коричневые, кофейно-коричневые, черные. Малайские и индусские глаза широкие, блестящие; китайские, прищуренные в каком-то вопросительном изумлении. Увидев пустую парту, Краббе спросил:

– Где Хамидин?

Мальчики зашевелились, оглядываясь через плечо на поднимавшегося Чан Тунь Чонга. Удостоверившись, что говорить будет классный капитан, деликатно повернули головы к Виктору Краббе, серьезно, рассудительно на него глядя.

– Тунь Чонг?

– Хамидин отправлен домой, сэр.

– Домой? Но ведь я вчера вечером видел его на спортивной площадке.

– Его отправили домой ночью, сэр, полуночным почтовым поездом.

Он исключен, сэр.

Исключен! Само слово как колокольный удар. Краббе почувствовал старую жуткую дрожь. Должно быть, этот ужас давил и на нервы школьников, хотя английские слова давали им очень мало намеков. Англия, мать, сестра, честь, хам, приличия, империя, исключен. Офицерский голос Генри Ньюболта<sup>[25]</sup> шептал в вентиляторах.

– Господи помилуй, за что исключен? – Краббе видел квадратное коричневое лицо Хамидина, гладкое аккуратное тело в футбольной форме. Исключение должно быть утверждено ментри безар или родным штатом мальчика, хотя утверждение всегда следовало автоматически.

Тунь Чонга вырастили методистом. Глаза его смущенно сощурились за толстыми серьезными очками.

– Дело деликатное, сэр. Говорят, он был в комнате пансионского боя с женщиной. Пансионский бой тоже был там с другой женщиной. Староста их обнаружил и доложил директору, сэр. Директор сразу отправил его домой с полуночным почтовым поездом.

– Так. – Краббе не знал, что сказать. – Не повезло, – неудачно выдумал он.

– Но, сэр. – Теперь Тунь Чонг заговорил быстрее; настойчивость и

смятение свели его речь к основным семантемам. – Мы думаем, его подставили, сэр. Староста с ним не дружит. Он ничего не делал с женщиной в комнате пансионского боя. Староста специально соврал директору.

– Какой староста?

– Пушпанатан, сэр.

– А. – Краббе чувствовал себя обязанным сказать что-то существенное. Он не вполне точно знал, кто такой Пушпанатан. – А, – повторил он, произнеся гласную с понижением, с оттенком полного понимания.

– Нам бы хотелось, чтоб вы рассказали директору, сэр, Хамидина неправильно исключили. Несправедливо, сэр. Он из нашего класса. Мы можем за него поручиться.

Краббе был тронут. В данном случае класс сплотился в единое целое. Тамилы, бенгальцы, единственный сикх, единственный евразиец, китайцы демонстрировали лояльность, превосходившую расы. Потом безнадежно увидел в этом единстве просто общую сплоченность против британской несправедливости.

– Так. – Он начал расхаживать взад-вперед меж окном и открытой дверью. И знал, что готовится произнести речь, неблагоразумие которой потрясет школу. – Так. – Лицо усатого малайца в переднем ряду просияло вниманием. – Прошу садиться, Тунь Чонг. – Китаец, капитан класса, сел. Краббе повернулся к школьной доске, разглядывая вчерашние уравнения, жирно начертанные желтым мелом. Желтый мел досаждал, осквернял руки, белые брюки, носовые платки от него были липкими, он пачкался, как губная помада, оставляющая отпечаток губ на чайной чашке в перерыве.

– Хамидину, – сказал он, – не следовало находиться в комнате пансионного боя. Пребывание в тех помещениях запрещено. Я не могу поверить в случайную встречу Хамидина с той женщиной. Я не могу поверить, что Хамидин просто хотел поговорить с той женщиной о политике или о дифференциальном исчислении. Кстати, кто она такая? – Прекратил променады, выгнул шею к Тунь Чонгу.

Тунь Чонг встал.

– Она школьница, сэр. Из английской государственной женской школы, сэр. – И опять сел.

– Так. – Краббе продолжил прогулку. – Если говорить честно, как частное лицо, а не штатный сотрудник, я бы сказал, чем бы Хамидин ни занимался в той комнате с той самой девушкой... – Он повернулся к Тунь Чонгу. – Кстати, чем он предположительно занимался?

На сей раз раздался серпантинный хор:

– Целовался. Целовался, сэр. Говорят, он ее целовал, сэр. Пушпанатан считает, они целовались, сэр. Целовались.

– А, целовались. – Краббе взглянул прямо на них. Тунь Чонг сел, по-прежнему тихо шипя это слово. – Вы все здесь в брачном возрасте. Может быть, некоторые давно были б женаты, если б японская оккупация не спутала вашу образовательную карьеру. Лично я не вижу особого преступления в невинном общении девятнадцатилетнего юноши с девушкой. По правде сказать, я не вижу особого преступления в том, что юноша целует девушку. Хотя, по-моему, у малайцев не практикуются поцелуи. Тем не менее они кажутся мне наименее вредным заимствованием у Запада.

Он подметил робкие улыбки, тонкие, словно морская пена.

– Говоря опять же как частное лицо, я не думаю, будто подобный поступок заслуживает исключения. Даже, – добавил он, – если будет доказано, что подобный поступок имел место. Есть у Пушпанатана свидетели, кроме него самого? Что говорит пансионный бой?

– Пансионского боя тоже исключили, – сказал Тунь Чонг, приподнявшись в полу стоячее положение.

– Вы хотите сказать, уволили.

– Уволили, сэр. Директор велел ему убраться немедленно. – Тунь Чонг сел.

– Значит, – заключил Краббе, – против Хамидина лишь показания Пушпанатана. И директор немедленно отослал Хамидина домой, карьера Хамидина погибла. Все это правда?

Шипенье потише, подтверждающее шипенье.

– С воспитателем Хамидина советовались?

Тоненький ясноглазый тамил встал и сказал:

– Мистер Крайтон сказал, ничего делать не будет, потому что директор правильно решил, и Хамидина правильно исключили. Поэтому мы вас просим, как классного руководителя, сказать директору, что это неправильно, по отношению к невиновному совершили серьезную несправедливость. – И грациозно, с достоинством сел.

– Так. – Краббе всех оглядел. – Представляется вероятным, фактически вполне возможным, что было принято весьма поспешное решение, может быть несправедливое. Всей истории я, конечно, не знаю. Но исключение, безусловно, ужасная вещь. Вы хотите, чтобы я поставил в известность директора о вашем недовольстве его действиями, суровым приговором, решением, вынесенным, по вашему мнению, на недостаточных основаниях?



Последовало энергичное шипение, легкий сдержанный прилив, ветряная рябь волнения. Класс смаковал слово «суровый», слово, которого ждал. «Суровый». Оно звучало сурово; это было суровое слово.

– Сегодня же утром как можно скорей повидаясь с директором, – сказал Виктор Краббе. – А сейчас нам предстоит чуть побольше узнать о Промышленной революции.

Все послушно обратились к учебникам и тетрадям, слово «суровый» еще чуточку эхом звучало сквозь поскрипывание крышек парт, стук обмакиваемых в чернильницы перьев. Краббе понимал, что зашел чересчур далеко. Кто-нибудь наверняка сообщит сейчас Крайтону или Локу о рассуждениях мистера Краббе насчет «сурового» приговора директора, потом пойдет разговор о лояльности, о непозволительных отступлениях; к Рождеству, возможно, неблагоприятный отзыв, и обязательно новые темы для клубных сплетен. «Слишком уж он азиатов любит. Слишком много толкует про азиатов. Слушайте, жалуется на европейцев, работающих с азиатскими ребятами. В любом случае, чего ему надо?»

*Тида'ана.*

Собственно, Виктор Краббе, пробыв в Федерации всего шесть месяцев, дошел до точки, обычной для ветеранов-экспатриантов, – увидел в белой коже аномалию, а в поведении белого человека полную эксцентричность. В первые дни войны он попал в больничное отделение скорой помощи, временное учреждение, занимавшее крыло огромной лечебницы для душевнобольных. Большинство пациентов страдали общим параличом, но спирохеты, прежде чем полностью поразить мозг, как бы с наслаждением порождали у слабоумных извращенные и бесполезные таланты. Один слюнявый больной, например, мог точно сказать, на какой день недели приходится любая в истории дата, не прибегая при этом к какому-либо разумному способу: подбрасывал монету и получал ответ. Другой правильно складывал ряды сложнейших чисел быстрее любого арифмометра. В третьем незадолго до смерти расцвел редкостный музыкальный талант; он умер, как лебедь. Европейцы вполне смахивали на этих безумцев. Силлогизм представлял собой шанкр, далекие фанфары болезни; отсюда со временем возникал холодильник, водородная бомба, общий паралич душевнобольного. Коммунисты в джунглях придерживались, пусть совсем отдаленно, эллинистической традиции: абстрактное желаемое и диалектическая техника. И все-таки процесс, в котором участвовал Виктор Краббе, был неизбежным процессом. Его пребывание здесь, в коричневой стране, в духоте чужой классной комнаты, предопределено и задано историей. Ибо цель западной модели – покорение

времени и пространства. Но из времени и пространства возникают точечные случайности, а из точечных случайностей возникли вселенная. Поэтому правильно, что он сейчас здесь стоит, обучая Восток Промышленной революции. Правильно, что эти мальчики будут кричать в мегафоны, проверять бомбовую нагрузку, мерить Шекспира меркой Аристотеля, слышать пятичастный контрапункт и считать его вразумительным.

Но правильно также, чтоб он сам полной грудью вдохнул освежающее дыхание Востока, пускай даже пропахшее чесноком, куркумой и сушеной рыбой. Правильно, что, лежа с Рахимой, он как бы призывал солнце окрасить его бледность естественным золотом, чтобы Восток его принял. И если неправильно, то хотя бы простительно, что он больше предан этим ученикам, чем болезненно бледному рыжеволосому слизняку, зевающему в директорском кабинете. У его неблагоразумия более ценные основания, чем простая безответственность.

– Но, конечно, сэр, нехорошо, если эти машины оставляли людей без работы, они правильно, сэр, хотели их уничтожить. – Малаец сел, ожидая ответа. У Запада всегда есть ответ.

– Вы должны запомнить, – сказал Краббе, – что технологический процесс всегда, теоретически по крайней мере, преследует цель давать людям все больше и больше счастья. – Малаец энергично кивнул. – Человек рождается не для труда. – Кивнули все малайцы. – Он рождается для счастья. – Единственный сикх улыбнулся сквозь редкую бороду. – Человеку нужно свободное время для умственного и чувственного развития. Великий итальянский поэт сказал: «Осмыслите свою природу: вы не приспособлены к животной жизни, а должны стремиться к познанию и добродетели». Но нельзя стремиться к знанию, к добродетели или к чувственным удовольствиям, – которые столь же важны, – не имея свободного времени. Поэтому появились машины, которые берут на себя вместо нас все больше работы, предоставляя нам больше досуга.

Мальчик-малаец выглядел озадаченным.

– Но, сэр, в кампонгах нет машин, а свободного времени много. Все сидят на солнышке, ничего не делают и счастливы. Я не понимаю, как это машины могут дать свободное время.

– Однако, – сказал Краббе, – всем нам, разумеется, хочется больше получить от жизни, чем дает существование в кампонгах. Вы, Селим, любите пластинки американских эстрадных певцов. Дарьян-атан фотограф, ему требуется аппарат. Вы ведь не ожидаете, будто все это свалится с дерева, как кокос. Все вы носите обувь. Ее надо изготавливать, а изготовление

– это труд. Чтобы получить нужные вещи, необходимо трудиться. Чем больше нам нужно вещей, тем больше развивается цивилизация, как утверждают. Если можно заставить машины делать для нас эти вещи, что ж, тогда мы получим лучшее от обоих миров. Получим массу удовольствий, питающих нашу душу и тело, и массу свободного времени для наслаждения ими.

– Сэр, – сказал Ахмад, малайский мальчик с усами и оспинами, – нам приходится носить обувь только потому, что британцы построили дороги, от которых ногам больно.

– Дороги построены не для того, чтобы вашим ногам было больно. Они построены для транспорта, чтобы необходимые вам вещи можно было быстро доставить из дальних городов.

– Но, сэр, их можно по железной дороге доставить, – заметил маленький тамил с сияющей улыбкой.

– Или на самолете, – добавил Латиф бен Хаджи Аббас.

– На самолете дороже, чем по железной дороге.

– Неправда. Из Алор-Стар на самолете на тридцать долларов дешевле, чем по железной дороге.

Я знаю, потому что спрашивал. – Это был высокий худой китаец по имени Фань Янь Шик.

– Хорошо, хорошо! – Краббе задавил спор в зародыше. – Не отвлекайтесь от темы. – Но он понимал, что они никогда не поймут этой темы. И снова чувствовал себя беспомощным. Это Восток. Логикой импортировал Запад, причем, в отличие от фильмов и холодильников, у нее был маленький рынок сбыта.

Прозвенел звонок. Звонок был ручной, звонил мальчик в соседней классной комнате. Он звонил рано, когда скучал на уроке, или ждал вопроса, на который не знал ответа. В очень редких случаях звонил поздно. Это бывало, когда он мечтал, как станет кинозвездой, или великим малайским певцом, или лидером НООМ.<sup>[26]</sup> Сегодня он не осмелился продлить утреннюю перемену больше чем на десять минут. Однажды продлил на целых сорок пять. Никто не возражал, кроме директора, оставившего его после уроков. В данный момент он звонил почти вовремя.

У Краббе выдалось свободное время, поэтому он направился прямо к кабинету директора. Стукнул в дверь-турникет, и ему велели войти. Старший клерк-малаец что-то говорил об оценках. На письменном столе были разбросаны папки. Быстрые лопасти потолочного вентилятора отражались в немногочисленных голых участках стеклянной крышки, в которую утыкались пухлые локти Бутби.

– Вот этих вот оценок дам дадо сделать пять экземпляров.

– Ау-у-у-у-у-у! – Бутби весьма энергично зевал. Он обожал зевать. Зевал на званных обедах, на совещаниях, диспутах, состязаниях по ораторскому искусству, на спортивных праздниках. Наверно, зевал и в постели с женой. Зевки его казались почти специальным физическим упражнением, при котором следовало расправить плечи, положить руки на ручки кресла, целиком запрокинуть верхнюю часть корпуса. Когда Краббе впервые увидел его зевающим посреди страстной речи по поводу религиозных праздников, произносившейся чи Джамалуддином на служебном собрании, он подумал, что Бутби собрался запеть.

– Ау-у-у-у-у-у! – Мальчики нередко говорили: «Но, сэр, если мы к нему по этому делу пойдем, он нам только зевнет». Теперь Бутби повернулся к Краббе, зевнул и сказал: – Присаживайтесь. – Старший клерк-малаец вернулся назад, в шум сплетен и пишущих машинок.

– Тут в кресле, кажется, сборники гимнов. Можно убрать?

– Экземпляры новой малайской истории для школ. Купер написал в Куала-Лумпуре. Ау-у-у-у-у-у! В будущем году будете ими пользоваться.

– Не знаю еще, хорошо ли. Купер ведь специалист по столярному делу, не так ли? – Краббе взглянул на первую главу. «Наша Малайя – очень древняя страна. Это страна с очень долгой историей. История – это как бы рассказ. Рассказ о нашей стране очень интересный». И быстро закрыл книгу.

– Чем могу помочь, Виктор? – У Бутби были редевшие рыжие волосы, рыжие брови. У него был лягушачий распущенный рот, растянутый, вероятно, зевками; нос картошкой, белесые глаза, обрамленные большими очками для чтения.

– Я по поводу Хамидина. Мальчики в пятом классе считают, что его не следовало исключать.

Говорят, нет реальных свидетельств, а дежурный староста настроен против парня. О несправедливости говорят.

– Неужели? А что они знают о несправедливости?

– Попросили меня поговорить с вами об этом деле. Я кое-что им сказал. Может быть, у вас тоже есть что сказать.

– Да. Можете им передать, пусть занимаются своими делами, черт побери. Нет, – поспешно добавил Бутби, – передайте, я полностью удовлетворен своим справедливым решением.

– Кажется, наказание слишком серьезное за небольшой проступок.

– Вы называете прелюбодеяние небольшим проступком? Да еще в стенах школы?

– По словам Пушпанатана, он целовал девушку. Может, правда, а может быть, нет. Поцелуй в любом случае нельзя назвать прелюбодеянием. Или мне пришлось бы признаться в прелюбодеянии с вашей женой на прошлое Рождество. Под омелой.

Бутби в зародыше подавил зевок.

– Ну?

– Исключение страшная вещь.

– Слушайте, – сказал Бутби, – я факты знаю, а вы нет. У них одежда была в беспорядке. Ясно, что должно было произойти. Вы тут не так давно, как я. Кровь у этих чурок горячая. При Джилле произошел совсем пакостный случай. Сам Джилл чуть не вылетел.

– Я и не знал, что Хамидин чурок. Я думал, он малаец.

– Слушайте, Виктор. Я тут с конца войны. Начал дьявольски славное дело, преподавая в Суитнем-колледже в Пинанге. Ничего не вышло. Они будут вас презирать, если посчитают мягким. Надо действовать быстро. Успокойтесь. – Он зевнул. – Они обо всем позабудут. Так или иначе, от меня передайте: я полностью доволен своим справедливым решением. – Бутби принялся искать папку.

– Вы просто поверили Пушпанатану на слово.

– Я Пушпанатану верю. Хороший парень. Лучше всех.

– Ну, вам известно мнение класса. Известно мое мнение. Наверно, сказать больше нечего. Кроме того, что это, по-моему, распроклятая автократия.

Бутби разозлился. Краснота от рыжих волос быстро залила незагорелое лицо.

– Обождите, пока проведете в стране несколько лет, черт возьми. Тогда поймете, что надо уметь принимать решения, и принимать быстро. В любом случае, кем вы себя считаете, будь я проклят, чтобы мне указывать способы руководства этим заведением? Через десять лет приходите, тогда и говорите про распроклятую автократию. – Краббе уловил неуклюжий намек на пародию в двух последних сказанных Бутби словах. Он вернул Краббе его же слова со старческой аффектацией, с отвисшей челюстью. Краббе собрался уходить. А когда толкнул вертящуюся дверь, Бутби вслед крикнул: – Да, кстати!

– Что?

– Где ваш отчет? Его надо сдать двадцать шестого.

– Зачем он вам?

– Так записано в правилах, которые вами были получены по приезде. Вы дважды в семестр должны мне его подавать. Я в прошлый раз не сказал,

потому что вы новенький. Мне надо знать, как мальчики учатся, как успевают.

– Вы получите результаты экзаменов.

– Я должен знать программу. Должен иметь представление, учат они что-нибудь или нет. Хочу знать отметки за домашнюю и классную работу.

– Ну, вам известно, чему я учу. Английской истории и малайской истории.

– Да, но хочу знать, что они усвоили.

– Но, послушайте. Я не на испытательном сроке. Вы безусловно можете предоставить своим штатным сотрудникам делать дело, которое они лучше знают.

– Я не могу доверять штатным чуркам. Должен знать, чем они занимаются.

– Тогда мы, наверно, все чурки, да?

– Таково правило. Дважды в семестр отчет. Принесите сегодня.

Вертящейся дверью не хлопнешь, она просто вертится. Эта дверь злобно вертелась. Краббе пришел в учительскую, пылая гневом. Обнаружил там мистера Раджа и мистера Роупера за взаимным рассказом о горестях. Мистера Раджа сманили с Цейлона готовить малайских учителей. Он был человеком богатой культуры, богатством которой делился со всяким и каждым в ходе долгих, медленных, монотонно катившихся монологов. Он уже проработал два года в школе Мансора, преподавая географию в младших классах. Его предметами были Образование и История Азии. Он бесконечно жаловался в учительской на причиненное ему зло. Мистер Роупер был евразийцем, сыном плантатора-англичанина и тамильской женщины низкого происхождения. Никогда не мог простить англичанам подобного мезальянса, хотя он подарил ему уникальную красоту. Высокий, мускулистый, с золотистой кожей, он горько толковал о несправедливости, совершенной по отношению к нему еще до рождения. Теперь Краббе слышал:

– Я просил повышения, а мне не дали. Почему? Потому что не белый, не *оранг путе*. Говорят, квалификация невысокая, но, можете поверить, не имеют в виду университетскую степень. Вижу я, что у них на уме. Все время думают: не *оранг путе*. Грязный, его и так можно держать, деньги для *оранг путе*.

Впрочем, ему принадлежала каучуковая плантация и самый лучший в Куала-Ханту автомобиль. А Краббе завидовал в первую очередь необычайной физической красоте, красоте, которая была для ее обладателя позорной печатью. Как трудна жизнь евразийца.

Радж забурчал в ответ. Длиннущие слова текли невразумительным звуковым потоком. Тихая оргия горечи продлится до звонка.

Краббе сел за свой стол, заваленный книгами без пометок, положил голову на потные руки. Из дальнего угла слышал австралийскую речь Крайтона, рассуждавшего про Шекспира и Бэкона. Крайтон преподавал английский. «Я должен хотеть вернуться домой, – думал Краббе, – как Фенелла. Я должен был жутко устать от здешней неразберихи, обскурантизма, предрассудков насчет цвета кожи, лени, невежества и не желать ничего лучшего холодной каменной деревенской английской школы. Но я люблю эту страну. И хочу ее защитить. Иногда, перед самым рассветом, мне кажется, будто я как бы вмещаю ее в себя, заключаю в себе. Чувствую, что я ей нужен. Абсурд, ибо змеи и скорпионы готовы меня ужалить, пьяный тамиль собирается пырнуть ножом, малайский мальчишка когда-нибудь впадет в амок и попытается разорвать меня на куски. Но это не имеет значения. Я хочу жить здесь, хочу быть нужным. Несмотря на пот, лихорадку, жгучую жару, москитов, террористов, дураков в клубном баре, несмотря на Фенеллу».

Фенелла. Долгое школьное утро тащилось к концу, жаркому, душному. Белые рубахи промокли пот капал на расплывшиеся чернила в тетрадах, слова растекались; даже туан Хаджи Мохаммед Нур, учитель-малаец, вынужден был снять тюрбан, чтобы было удобнее вытирать голову. Вентиляторы вертелись с максимальной скоростью, но взбивали воздух столь же бессильно, как кулачки капризного ребенка. Сегодня рано прозвенел звонок.

Фенелла Краббе вылезла из постели, как только услышала первых возвращавшихся велосипедистов. Мальчики собирались к ленчу. Виктор будет, как минимум, через пятнадцать минут, если его кто-нибудь не подвезет. Он обычно отказывался и шел пешком. В наказание. Фенелла не все это время спала. У нее на тумбочке рядом с кроватью стоял кувшин с теплой водой, час назад бывшей льдом. А еще бутылка джина и блюдец с нарезанным лаймом. Легкий приступ лихорадки, а джин помогает. В ногах кровати лежал номер «Персвейжн», томик стихов Джона Бетджмена, литературная критика профессора Клинта Брукса. Чуть дрожавшие руки держали сегодняшний выпуск «Тимах газетт», дурно отпечатанную тряпку с немногочисленными заголовками: «Коммунисты-террористы выдавливают глаза долбильщикам»; «70-летний китаец обвиняется в изнасиловании»; «Угроза бунта в Сингапуре». Она с интересом прочла о создании в Тимахе Общества любителей кино, которое будет собираться раз в две недели. Первыми были объявлены фильмы: «Броненосец

«Потемкин», «Кабинет доктора Калигари», «Кровь поэта», «Метрополис» и «Вечерние гости». Жутко смешно, что у них нет машины, а Виктор, похоже, не хочет дружить ни с одним из местных европейцев; у всех европейцев – кроме супругов Краббе – были автомобили. Она чувствовала, что в Тимахе должны найтись люди ее типа, люди, которые говорят о книгах, о балете, о музыке. Если бы только они с Виктором вступили в это самое Общество любителей кино. Но что толку, когда нет машины? Почти пора Виктору бросить эту глупую чепуху, нежелание снова садиться за руль. Сама она машину не водит, но зачем делать мужнино дело? Пускай он ее возит. Может быть, можно себе позволить нанять шофера, – скажем, за восемьдесят долларов в месяц. Но Виктор упрямо не хочет покупать машину. Вроде человека, который боится воды и даже не сидит на пляже. В каком-то смысле так оно и есть. В Тимахе имеется плавательный клуб. Он купаться отказывается, значит, ей туда ходить нельзя. Но, в любом случае, как обойтись без машины? Без машины нельзя жить в Малайе. В Малайе в любом случае нельзя жить.

Фенелла полотенцем вытерла с лица пот. Может, удастся уговорить его купить машину, чтобы она научилась водить. Но кто ее тут научит? Опять же она слишком нервная, чересчур напряженная. На дорогах опасно, кругом как попало ездят велосипедисты и велорикши. Подкрашиваясь, проклиная пот, от которого пудра слипалась в комки, она страдала по Лондону, где приплясываешь от холода по вечерам; по балетам, по концертам. Цивилизация возможна лишь в умеренном климате. Об этом она написала стихи:

Где начинается пот, ничего не начнется.  
Пускай даже свершается жизни тур,  
Кружится в кольцах пыли, как Сатурн,  
Но все творчество – сотворение сухих картин,  
На которых всегда стоит подпись сухого солнца.

Слышалось, как мальчишки визгливо входят в столовую внизу, не слушаясь неуверенного лая старост. От шума у нее в голове застучало. О господи, надо ж такому добавиться к полнейшей некультурной дьявольской пустоте. Теперь начался шум и продлится до игр. Шум от всей души до обеденного времени. Шум до и после домашних уроков. Шум в дортуарах. Почему Виктор их крепче не держит в руках?

Послышались шаги Виктора, входившего в гостиную, шаги усталого



мужчины. Фенелла в халате вышла навстречу. Он поцеловал ее в щеку, она ощутила пот у него на верхней губе. И лицо у него было покрыто потом.

– Рубашку перед ленчем смени, дорогой, – сказала она. – Эта промокла.

– Чертовски жарко было идти домой. По утрам не так плохо. Можно мне выпить? – И он рухнул в кресло.

Ибрагим слышал, что он пришел, и со стороны дальней кухни послышалось дребезжание стаканов и бутылок. Ибрагим вошел с подносом, улыбаясь хозяину, одетый в шелк – широченные рукава, широченные шаровары. Прядь волос спереди выкрашена в живой красный цвет.

– Ради бога, не старайся походить на Бутби, – сказал Краббе.

– Туан?

– Впрочем, риска никакого. Никто не назовет Бутби хорошеньким мальчиком.

– *Сайя тидак менгерти, туан.*

– Я говорю, мило выглядишь. *Иту чантек, Ибрахим.*

– *Терима касен, тпуан.* – Ибрагим вышел, расплывшись от удовольствия, виляя задом.

– Не надо бы его поощрять, – сказала Фенелла. – Я не возражаю против небольшой эксцентричности, но не хочется дойти до точки, когда люди будут смеяться над нами.

– Люди над нами смеются? Из-за Ибрагима? – Краббе выпил кружку лимонного сока с двойной порцией джина. – Надо нанять какого-нибудь древнего китайца с кислой физиономией, который в наше отсутствие выхлещет бренди? Я правильной процедуры не знаю. Лучше проконсультируюсь в окружном управлении.

– Ох, не будь идиотом. – Фенеллу еще била дрожь. После долгого сна со снотворным она всегда себя чувствовала обессиленной и раздраженной. Лихорадка не проходила.

– Извини, дорогая. – Он поспешно вспомнил про свои обязанности перед ней, о заслуженной ею жалости. – Утро выдалось адское. Бутби мне на нервы подействовал.

Она не спросила, чем Бутби подействовал ему на нервы. Пошла на веранду, огромным полукругом бежавшую вокруг всего этажа.

– Кажется, вообще нет никакого воздуха, – пожаловалась она. Краббе смотрел, как она наклонилась над каменной балюстрадой, пытаясь глотнуть воздуха с зеленой лужайки внизу. Высокая, элегантная, в тонком цветном халате, с золотистыми волосами почти до плеч. Он поставил вновь

налитый стакан и направился к ней. Обнял, чувствуя влагу сквозь тонкую материю халата.

– Лучше себя чувствуешь, дорогая?

– Я себя лучше почувствую через два с половиной года. Когда мы сможем уехать. Навсегда.

– Если действительно хочешь домой, я в любой момент смогу это устроить. Можешь там меня ждать.

...Непременно дождусь,  
Снова на Мейда-Вейл<sup>[27]</sup> тебя встречу.

– Ох, не будь же все время таким бессердечным. – Она, дрожа, повернулась к нему. – По-моему, на самом деле тебе на мое самочувствие наплевать.

Разразился очередной небольшой тропический шторм. Очередная классическая колониальная ссора между туаном и мем. Краббе ничего не сказал.

– Я хочу, чтобы мы были вместе, – сказала она. – Мне даже в голову не приходит оставлять тебя тут одного. Я думала, ты ко мне так же относишься.

– Хорошо, дорогая. Но пока нам придется жить здесь. Надо постараться как-то прожить в этой стране. Нехорошо все время с ней бороться. Тебе надо признать: это не Лондон, климат экваториальный, тут нет концертов, театров, балетов. Однако есть другие вещи. Сами люди, маленькие забегаловки, невероятная смесь религий, культур, языков. Вот зачем мы здесь – чтобы поглотить эту страну. «Или чтоб она нас поглотила», – добавил он про себя.

– Да ведь мы тут все время торчим. Меня шум с ума сводит. Кругом мальчишки вопят. А когда мальчишки на каникулах, являются рабочие, плюются, рыгают, обдирают стены, пилят доски. Если б мы только бывали для разнообразия в какой-то приличной компании, пару раз в неделю ездили бы в Тимах, встречались с людьми нашего круга.

– В Тимахе полно деревенщин плантаторов и офицеров Малайского полка.

– Хорошо. – Теперь она чуть успокоилась, вытерла носовым платочком лицо, отвернулась от вида на лужайку, на горы, на джунгли, на реку. – Там должны быть какие-то разумные люди, раз создали Общество любителей кино. Сегодня сообщают в газете. Хорошие фильмы показывают,

французские.

– Очень хорошо, давай вступим.

– А как мы туда доберемся?

Вот, опять, не совсем обычная тема для ссоры, в высшей степени необычная, эксцентричная – ее слово – в стране, где у всех белых имеются автомобили, где автомобиль служит важнейшим органом тела, чувством, способностью.

– На автобусе можно. Автобусное сообщение вполне приличное.

– И ты хочешь, чтоб я там сидела, глазела, словно в какой-нибудь интермедии, а на меня дышали бы чесноком, кругом пот, грязь...

– Ты не возражала против чеснока во Франции. Или в Сохо.

– Ох, не будь идиотом, Виктор. Так вести себя просто нельзя. Я думала, даже у тебя хватит ума понять, черт возьми...

– Я твоей непоследовательности не могу понять. Дома ты представительница богемы, гордишься этим, любишь отличаться от всех окружающих. Там тебе вполне годятся автобусы и подземка.

– Но тут другое дело. – Она почти кричала, выговаривала слова, будто объявляла радиопрограмму. – Мы все европейцы в Европе. – Ее сильно трясло. – Мы не можем жить, как азиаты...

– Хорошо, хорошо. – Он схватил ее за локти, потом попытался обнять. – Найдём какой-нибудь способ.

Тихо пришел Ибрагим, глядя большими серьезными глазами, объявил: ленч готов.

– *Макан суда сьап, туан.*

– *Байкла, Ибрахим.*

Они молча пошли в жаркую столовую без вентилятора, выходившую окнами на последний виток веранды, в свою очередь выходившей на умывальни и душевые для мальчиков. Ибрагим подал холодный томатный сок, серьезно, грациозно. Краббе сказал:

– Хочешь машину, да?

– Нам нужна машина.

– Ты же знаешь, я больше водить не хочу. Очень жаль, но вот так.

– Можно нанять шофера.

– Разве мы можем это себе позволить? – Как минимум, восемьдесят долларов в месяц, а он в данный момент около шестидесяти отдает Рахиме.

– Можно попробовать.

И конечно, выплата государственной ссуды за автомобиль составит около ста пятидесяти в месяц. Хотя в банке есть какие-то деньги, скудный остаток их маленького капитала.

- Хорошо. Я подумаю.
- Можно купить подержанную. Денег хватит.
- Да, я как раз об этом и думал.

Ибрагим принес лососину в банке и салат. Накладывая ему, она сказала:

- Будет совсем другое дело. Я почти примирюсь с жизнью здесь.

Это ей принесет дуновение умеренного климата. Ему тоже, если на то пошло. Очень холодное дуновение умеренного климата. И он принялся есть свою консервированную лососину.

С еще звеневшими в ушах протестами запертой собаки Нэбби Адамс вошел в Клуб. Вошел довольно робко, шесть футов восемь дюймов робости, хотя имел такое же право войти туда, как и любой другой. Может быть, даже больше, ибо не задолжал Клубу денег. Чего никак не скажешь про двух гадов, до смерти упивавшихся чаем возле книжных полок. Но в Клубе он себя чувствовал неудобно; гораздо охотней пошел бы в маленький кедай с Алладад-ханом. Однако именно потому, что это было единственное па много миль место в округе, где он не задолжал денег, Нэбби Адамс пришел сюда нынче вечером. Харт, вон тот толстый гад, написал письмо командующему полицейским округом про счета Нэбби Адамса. Командующий очень мило отнесся. Сказал Нэбби Адамсу, счета надо прямо сейчас оплатить, а для гарантий немедленной оплаты счетов пообещал устроить единый вычет из жалованья Нэбби Адамса. Вычет был сделан, и от жалованья Нэбби Адамса почти ни черта не осталось. Все равно, один счет оплачен, и дьявольски крупный. Нэбби Адамс велел Алладад-хану идти и сидеть во дворе для прислуги позади Клуба. Посулил прислать большую бутылку пива. Алладад-хану следует постараться тянуть ее как можно дольше. Нэбби Адамс кликнул клубного официанта. На тренированный взгляд Нэбби Адамса сильно смахивало, что клубный официант, Хонг, Вонг, или как его там, накачался опиума. Зрачки у него были с булавочную головку. Он не смотрел прямо в глаза Нэбби Адамсу, как бы зная, что он, Нэбби Адамс, знает.

– Дуа «Тигра». Одну мне, другую тому, что вон там вон сидит. – Если Алладад-хану отчаянно потребуется еще пиво, он должен резко свистнуть. Нэбби Адамс у стойки бара услышит.

Пиво было слишком холодное. Нэбби Адамс привык к скудным прелестям освещаемых керосиновой лампой пивных, и за двенадцать с лишним лет на Востоке выработал вкус к теплему пиву. Любовь к холодному пиву – что-то женственное, декадентское, американское. Во время последнего отпуска он познакомился с одним американцем в местном баре. У того американца в багажнике автомобиля было нечто вроде холодильного агрегата. Во всем остальном машина симпатичная. Тот самый американец сказал: «У нас в Техасе обязательно оценили б мужчину такого размера, как ты». И настойчиво сунул Нэбби Адамсу радость жизни – бутылку пива, до того холодную, что казалась раскаленным железом.

Нэбби Адамс заболел после вязкого арктического напитка, от которого зубы ломило.

Он на время оставил своего «Тигра» на стойке бара, чтобы мороз сошел. Набил моряцкий «Вудбайн»<sup>[28]</sup> из жестянки, подаренной благодарным китайцем, хозяином беговой лошади, которому он починил сломавшуюся на дороге машину. Огромные пальцы Нэбби Адамса были так запачканы табачной смолой, что казались залитыми йодом или еще чем-нибудь. Поэтому он себя чувствовал слегка больным, когда брал в руку сандвич. Еще один повод не есть слишком много.

Нэбби Адамс не собирался сидеть в Клубе весь вечер. Может, кто-нибудь придет, встанет у бара, можно будет поговорить. Нэбби Адамса в последнее время не сильно радовал свой английский. Он любил хорошо говорить и теперь понимал, что английская грамматика у него портится, словарь скудеет, приходится пополнять индийскими словами, а произношение вряд ли годится для патрицианского общества. С него довольно разговоров с Алладад-ханом на урду, мило, уютно посиживая в каком-нибудь маленьком кедае.

Раздался резкий свист Алладад-хана. Он отправил ему другую бутылку, на этот раз маленькую. Эта задница пьет быстрее него самого, Нэбби Адамса. Начинает наглеть. Просит представить его мем-сахиб. А у самого прелестная жена в шелковых шароварах и в сари рождает в Куле-Лумпуре ребенка. Нэбби Адамс всегда говорил «Куль» вместо «Куала». Не мог серьезно относиться к малайскому. Не настоящий язык, в отличие от урду или от пенджабского. Китайский тоже. Плинк-планк-плопк. Любой может так говорить. Распроклятый обман.

Нэбби Адамс пришел в Клуб главным образом посмотреть, не удастся ли одолжить пятьдесят долларов у старика китайца А Юня, управлявшего заведением. Пускай он их в книжку запишет, или Нэбби Адамс напишет расписку. Нэбби Адамс всегда писал расписки. В любом случае, просто клочок бумаги. Вдобавок А Юнь – богатейший человек в Куле-Хаиту. Устроил что-то вроде побочного клуба для своих приятелей в дальних комнатах настоящего Клуба. Чистая прибыль, так как выпивка поставляется из настоящего Клуба. Джин и виски водой разбавляет, вечно не доливает. Поэтому лучше пить пиво. С ним не сжульничаешь. А Юнь был комиссионным агентом на скачках, толкачом опиума, брадобреем, абортмахером, продавал машины, сводничал, незаконно гнал самсу. А еще у него три жены, хоть он и объявляет себя христианином. Поэтому его никогда нету в Клубе, не занимается своим чертовым делом. Трудно его заловить. Когда члены комитета присутствуют – вон двое из них сидят, – А

Юнь иногда появляется, деловой, насупленный, со счетами, с бухгалтерскими книгами, бог знает с чем. Нэбби Адамс решил спросить у накачанного опиумом облома, где его папаша. Не хочется зря тут вечер потратить.

– А Юнь, – сказал Нэбби Адамс. – *Сайя* хочет перемолвиться с А Юнем словечком.

Вонг, Хонг, или как его там, черт возьми, что-то пробулькал, глядя шустрыми глазами на стойку.

– Где он? – допытывался Нэбби Адамс. – Хочу его видеть.

Накачанный опиумом облом с бульканьем улизнул.

Он ничего не понял. Нэбби Адамс содрогнулся при мысли о том, что опиум делает с человеком, если войдет в привычку. Наркоман, вот как надо сказать. Стать наркоманом – значит накликасть раннюю смерть.

Нэбби Адамс услышал резкий свист Алладад-хана.

Пускай задница ждет. Чересчур вырастает из своих распроклятых ботинок. Мем-сахиб и гуляния со старшим по чину. Нэбби Адамс мирно выпил.

Немного подумал о том, о чем теперь редко подумывал, а именно о женщинах, женах, и всякое такое. Исчезновение желания не уязвляло его. Не уязвляло на протяжении пятнадцати последних лет. Теперь, в сорок пять, он спокойно ушел от всех опасностей. В тихие воды. Вдобавок его призвание предполагало безбрачие. Хотя было время, в армии, в Индии, было время, когда он в Индии работал на железной дороге, совсем другое время. Каждый день после полдника залезал па чарпой отдохнуть, следом карабкалась крошка ама. Каждый день, когда он просыпался пить чай, она несла чай, который так и стоял, пока уж совсем не простынет, что пить невозможно. А в другой раз майорская леди. А в Англии, когда он был могильщиком, один раз с миссис Эймос на могильной плите. Нэбби Адамс покачал огромной головой. Его истинная жена, его гурия, его возлюбленная была повсюду, ждала, как джинн, в бутылке. Брачно откупори пробку, целуй горьковатый коричневый дрожжевой поток – эйфория, сильно превосходящая лишение девственности.

А тут китаец с тремя женами, Алладад-хан с одной, однако похотливо жаждущий мем-сахиб. Краббе с той самой мем-сахиб, но крутит с малайской девушкой в кабаре «Парадиз» ниже по дороге. Он видел его нынче вечером по дороге туда. Немножко поговорили, Краббе сказал, на деловую встречу идет. Правда, да только в виду имеется совсем другая встреча, врун чертов? А еще сказал, ищет подержанную машину. Нэбби Адамс подумал о деньгах, потраченных на жен, на девушек из кабаре, на

подержанные машины.

А потом с изумлением и надеждой увидел, как вошел А Юнь, сморщенный, в очках, серьезно изучая счетную книгу.

– Эй, – сказал Нэбби Адамс. Но в тот же самый момент к бару затопали ноги в ботинках.

Оглянувшись, Нэбби Адамс увидел Гарпи, командующего полицией округа, еще в форме, хоть было уже почти девять часов. Гарпи, длинный, похожий на покойника, с усталым видом. Не везет, черт возьми.

Нэбби Адамс сказал:

– Добрый вечер, сэр, – уверенным утонченным тоном полкового старшины.

– Привет, Нэбби. Что пить будете?

– Спасибо, сэр. Пива, маленькую, сэр.

– И, Нэбби, простите, что говорю о делах, но не надо вам ездить в Мелавас без сопровождения. Вы же знаете, таково правило. Вас подстрелят. Сегодня еще один инцидент.

– Бензин экономится, сэр. Конвойные машины жрут кучу бензина, сэр. – Но истинную причину нельзя называть. Нельзя ж останавливаться в маленьких кедах, когда чертов эскорт наблюдает за каждым глотком и болтает по возвращении.

– Если вы пользуетесь полицейским транспортом, Нэбби, нужен эскорт. Ваше здоровье.

Харт и другой тип, Риверс, пришли к стойке, наговорившись в дальнем углу.

– Привет, Найджел.

– Как дела, Дуг?

– Да черт его знает, Найджел.

Нэбби Адамс неловко себя чувствовал. Ему хотелось убраться отсюда. Он терпеть не мог Харта; Риверс, бывший армейский служака, а теперь плантатор выше по дороге на Тахи-Панас, действовал ему на нервы ко всем чертям. Но он принял «Тигра», других тоже выпивкой угостили, и Нэбби Адамс с ужасом прозревал перспективу всех угощать самому. А тут А Юнь кругом ухмыляется, снова явил свою чертову физиономию, и накачанный опиумом облом улыбается всем из-за стойки.

– Снова проблемы в поместье Келапа, – сообщил Гарни.

– Ох, боже, снова в Келапе? – Риверс схватился за свой командирский правый ус, словно за талисман.

– Уиверс отстрелялся. Хотя тамила прихватили. Выпустили кишки, потом спели «Красный флаг» по-китайски. – Гарни хлебнул свой розовый



джин.

– Несчастливое поместье, – сказал Харт, глядя жирное голое колено. – Там был Ребек, потом Фотерингеи и молодой помощник, как там его звали. Теперь Уиверса взяли.

– Теперь каждый день наша очередь может прийти, – нервно сказал Риверс. Под левым глазом у него бился тик. – Сваливаю на проклятом пароходе. Еще три недели осталось. Нет, две и пять дней.

– У них громкий боевой клич, – сказал Гарни. – «Смерть Уиверсу». Коммунистов-террористов больше всего обидело, что ему дали шанс выплатить протекционные деньги, а он не захотел.

– По-моему, не смог, – вставил Харт. – Кругом в долгах. – Нэбби Адамс сочувственно слушал. И сказал, поддерживая разговор:

– Уиверс и Риверс похоже звучит. Вполне может быть «смерть Риверсу».

Риверс передернулся, показал крупные зубы под навесом усов.

– Если вам кажется это забавным, старина...

– Нет, – сказал Нэбби Адамс, – я серьезно имею в виду, две фамилии...

– Ладно, ладно, – мягко перебил Гарни. – Давайте еще выпьем.

– Моя очередь, – сказал Харт. – Эй, бой.

– С одной стороны, шутка, – объяснял Нэбби Адамс. – Две фамилии...

Со служебного двора послышался резкий свист. Рука Риверса быстро рванулась к кобуре. Все вслушивались. Свист повторился еще резче.

– Что за черт? – сказал Гарни.

– От рук отбились, – заключил Риверс. – Чертовы клубные слуги. Я этого черномазого исполокую. Пулю в него всажу. Ногти вырву клещами. Никакой субординации не признают, ублюдки. Эй! – крикнул он. – Прекрати свистеть, черт побери!

Теперь раздался более жалобный свист.

– Слышите? – взбесился Риверс. – Дьям, задница, дьям сейчас же, проклятье!

– Не надо на этих людей кричать, – сказал Гарни. – Они это считают признаком слабости. Пойдите и скажите.

– Я пойду, – энергично вызвался Нэбби Адамс. – Я скажу, сэр.

– Плевать, – сказал Харт. – Сейчас его угомонят. – Нэбби Адамс слышал нудную хакка и Алладад-хана, по-пенджабски утверждавшего свои права.

– Рад буду убраться отсюда, – буркнул Риверс. – Целый день кули, кретины, проклятые слабоумные, даже тут, в Клубе, от них не избавишься. Хорошо б никогда больше в жизни не видеть чернокожих. Меня от них

трясет. Дисциплина, вот что им нужно. Когда я был в армии, вполне мог с ними справиться. Десять дней не платил. По плацу пару раз с полной выкладкой. Попробуй-ка тут, в поместье, нож в спину получишь. – И раздраженно почесал плечи. Коллючая жара.

– Это ведь в Африке было, правда? – уточнил Гарни. – Знаете, это другое дело.

– Все одинаковые, – заявил Риверс. – Ниггеры. Ублюдки черные.

Нэбби Адамс взглянул на высокомерный белый нос, на презрительные ноздри, где расцветали усы, волосяные рога изобилия. Страшно хотелось разок по ним чуточку врезать. Однако он сдерживал свой темперамент, пил пиво, которым его угощал Харт, гадал, удастся ли уклониться от угощения, не вызвав у Гарни подозрений. Потому что уборная была в другом конце Клуба. Распроклятый А Юнь расхаживал во дворе: слышалось, как он распекает жен; почти слышался хруст десятидолларовых бумажек у него в карманах. А этот чертов дурак Алладад-хан через минуту снова начнет. «Стой, – думал Нэбби Адамс, – скажу доброй ночи, выйду, а потом улизну».

Допил стакан и сказал с онемевшим от холода ртом:

– Мне идти надо, сэр.

– Я подброшу вас, Нэбби, – предложил Гарни.

Ох, боже, почему вечно такое случается?

– Очень любезно, сэр. Только я не в столовую. Прогуляться хотел.

– Ладно, тогда одну на дорожку.

– Толкай лодку, Адамс, – сказал Харт. – Мне *стенгу*.

Нэбби Адамс видел в бреду Бомбей в море крови. И кликнул официанта единственным диким лаем.

– Надо вам поторапливаться с машиной, – сказал Гарни Риверсу. – Когда едете?

– Через две недели и пять дней.

– Сколько за нее просите?

– Две тысячи.

– Не получите.

Обсуждались достоинства автомобиля Риверса. Нэбби Адамс настойчивой пантомимой приказывал Хонгу, Вонгу, или как его там, черт возьми, отнести Алладад-хану очередную бутылку и велеть заткнуться. Парень, накачанный опиумом, с оскорбительной громкостью откупорил пиво и выкатился вместе с ним, распевая. Слава богу, остальные не заметили.

– У вас есть шанс, Нэбби, – сказал Гарни. – «Абеляр» пятьдесят

второго года. Тысяча восемьсот.

– Для меня это крайний предел, – сказал Риверс. – И так деньги теряю.

– Можете перегнать в Мелавас без эскорта, – с искрой в глазах добавил Гарни. – Сэкономите фирме бензин.

– Я подумаю, – сказал Нэбби Адамс.

И как ни странно, подумал. Темные воды его сознания пошли кругами от выныривавших планов. Гарни вскоре ушел. Пришли два офицера Малайского полка, жизнерадостные до безумия. Одним из них был майор Латиф бен Хаджи Махмуд, другим – капитан Фрэнк Харли. Говорили на шутовской смеси малайского и английского, отчего Нэбби Адамс содрогнулся.

– *Селамат* вечер.

– *Добрый малая.*

– *Апа* нового?

– *Что хабар!*

Риверс крикнул официанту:

– *Съяп мейя.*

– Туан?

– Быстро бильярдный стол приготовь. *Кита майн* снукер. <sup>[29]</sup>

Играли вчетвером. Бильярдный стол был отгорожен от бара, по стук шаров, мальчишеские вопли и крики терзали Нэбби Адамсу нервы. А чертов дурак Риверс оставил на стойке свой пистолет. «Поделом ему было бы, если б я его взял и шлепнул А Юня». Нэбби Адамс, тайком бросив взгляд на дебетный итог клубной книжки Риверса, с мрачным удовлетворением обнаружил, что Риверс должен Клубу 1347 долларов 55 центов. Огромными желтыми пальцами перелистал страницы книжки Харта. 942 доллара 70 центов. Вот, а он, Нэбби Адамс, задолжал просто пять с чем-то сотен, и этот гад его заложил. Для богатых другой закон. Правильно. Купит он у Риверса эту машину. Верней, Краббе купит. Правильно.

Нэбби Адамс на цыпочках вышел из Клуба по скрипевшему полу. Никто его не заметил. Хорошо. Среди растений в кадках, подвешенных скорлупок кокосовых орехов, полных засыхавших цветов, подышал синей малайской ночью. Пальмы шатались перед зданиями городского совета. Шатавшийся рабочий-тамил семенил из лавки, торгующей тодди. Радио в полицейских казармах громко пело на хинди. Нэбби Адамс пробрался средь мусорных баков и велосипедных покрышек к служебному двору за Клубом, обнаружил Алладад-хана, ерзавшего за огромным грязным столом с пустым стаканом. Кукольные дети с прямыми челочками вертелись

вокруг него, молодая бесформенная китаянка в пижаме с каким-то остервенением гладила рубашки.

Нэбби Адамс сказал на чистом, грамматическом урду:

– Где китаец, который Клубом заправляет? Хочу денег у него занять.

– Ушел, сахиб.

– Другой вопрос. Чего ты хотел добиться, громко и постоянно шумя, пока я выпивал? Наверняка понимаешь, что другие присутствовавшие там сахибы проявляли определенное раздражение. Больше того, командующий окружной полицией чуть за тобой не пошел. Это обязательно навлекло бы на нас обоих беду, но особенно на тебя.

– Меня замучила жажда, сахиб.

– Ну, в другой раз, когда тебя жажда замучает, лично расплачивайся, черт побери, – с силой по-английски сказал Нэбби Адамс. – Думаешь, я сам сделан из распроклятого пива?

– Сахиб?

– Слушай. – Нэбби Адамс вернулся к урду. – Нам надо испортить машину. А потом ее купим. А потом продадим. Надо купить дешево, а продать дорого, как делают коммерсанты.

– У меня на машину нет денег. По-моему, у вас тоже.

– Это не важно. Сперва надо отсюда ее увести. Она перед Клубом стоит. «Абеляр». Потом сделаем все, что надо.

Нэбби Адамс с Алладад-ханом тихо прошествовали в темноте к клубной стоянке. Отполированный «абеляр» призрачно поблескивал видением из будущего в слабом свете уличного фонаря. Из Клуба слышался стук шаров и счастливые крики. Алладад-хан не проявлял особого энтузиазма по поводу плана Нэбби.

– Надо просто, чтоб мотор как бы с трудом запускался, да стукнуть как следует. Жди тут.

Нэбби Адамс снова вошел в Клуб. На столе оставалось лишь несколько цветных шаров.

– Цалам в лузу.

– В лобанг.

Аккуратный майор-малаец с кошачьей грацией, обаятельно улыбающийся вечной зубастой улыбкой, загнал синий шар.

Нэбби Адамс обратился к Риверсу:

– Можно мне просто машину попробовать?

– Купить собираетесь?

– Думаю, смогу денег набрать.

Риверс покопался в кармане, нашел ключ от зажигания, бросил. Ключ

был надет на кольцо с крошечной бульдожьей фигуркой. Нэбби Адамс поймал огромными, словно поле, ладонями.

– Поосторожнее с ней. Не задерживайтесь.

Выйдя из Клуба, Нэбби Адамс велел Алладад-хану:

– Поезжай сначала в кабаре «Парадиз».

– Зачем?

– Продать машину мистеру Краббе.

– Вы меня мем-сахиб обещали представить.

– Не все сразу. Что за нетерпение.

– Как мы можем машину продать, если еще не купили?

– За эту сторону дела я буду отвечать.

Они медленно ехали по Джалан-Мансор. В кофейнях пылала музыка и свет. Велорикши виляли, робко пробирались со своим человеческим грузом. Юные малайские отпрыски в большом количестве ехали рядом, не обращая внимания на гудки Алладад-хана.

– Хороший гудок, – сказал он.

Хрупкие изысканные девушки-китаянки семенили в студенческий женский клуб в чонгсамах с прорехой на тонких лодыжках. Полуголый тамил тащил дохлую рыбу. Четьяры в дхоти размахивали любящими деньгами руками, возбужденно беседовали с открытыми улыбками. Морщинистые патриархи китайцы прочищали горло от остатков мокроты. Сикх, предсказатель судьбы, бормотал над ладонью клиента. Продавцы сате – кусков рубца и печенки на вертеле – дышали дымом своих жаровен. Продавцы сладких напитков скучали над голубыми, зелеными и желтыми бутылками. Многочисленные клиенты лежали на спинах в цирюльнях, как мертвые в саванах. Над всем царил зловонный возбуждающий запах дуриана, ибо был сезон дуриана. Нэбби Адамс однажды был на обеде, где подавали дуриан. Все равно, вспоминал он, что есть сладкое клубничное бланманже в уборной. Алладад-хан ехал медленно.

– Хорошие тормоза, – сказал он, спокойно глядя, как непострадавший ребенок ползет назад играть в муссонной дренажной канаве. Проехали Королевский кинотеатр с огромным рекламным щитом тамильского фильма – загогулины и кружки высотой в три фута, толстое женское искаженное страхом лицо. Проехали – с сожалением – пивной сад Конг-Хуа. Скоро подъехали к кабаре «Парадиз» – слабые огни, хрипая пластинка, управляющий в вечернем костюме – шорты и майка, – стоял с сигарой, слабо виднеясь в дверях с занавеской.

– Ачча, – сказал Нэбби Адамс. – Туда пойдем.

– У нас денег нету.

– Ачча. Краббе заплатит.

Краббе заплатит. Краббе сидел в тени за столиком с Рахимой. Пили они на двоих бутылку теплого пива «Якорь». Прелестное личико Рахимы пряталось в тени, прелестное тельце Рахимы пряталось сегодня в свободной шелковой пижаме, сама Рахима застыла, замкнулась, однако еще не смирилась. Краббе медленно говорил по-малайски сквозь пластинку, резкими благочинными потами излагавшую в ритме самбы религиозные принципы – «Рукун Ислам».

Если ты не избежешь сетей обольщения,  
Днем и ночью Аллаху не будешь молиться,  
Поздно будет тебе ждать прощения,  
Придется в Аду поселиться.

Пластинка сменилась. Краббе слабо продолжал па одной ноте:

– *Маалум-ла*, возникли проблемы. Люди болтают. Меня могут с работы уволить.

– Можно уехать отсюда, жить вместе. Можно в Пинанг поехать. Вы умеете на пианино играть, я там могу танцевать. Вместе можем зарабатывать три сотни долларов в месяц.

– Но дело в моей жене.

– Можете ислам принять. Разрешено четыре жены. Только и двух хватит.

– Но так не пойдет. Я не могу потерять нынешнюю работу. Тогда мне конец.

– Вы от меня хотите избавиться, как мой муж Рахман.

– Но проблемы очень серьезные. И я тебе больше денег давать не могу. Становлюсь бедняком.

Она ничего не сказала. Краббе мрачно выпил пива. Пластинка «Семь месяцев одиночества» заедала и верещала, как попугай: «семь ме семь ме семь ме». Рахима пошла ее сменить. Вернулась, обхватила его большие белые руки своими маленькими коричневыми.

– Деньги – это не важно. Не бросайте меня. Если люди болтают, их дело. *Туда'ана*.

Краббе услышал тяжелые шаги, поднял голову, с каким-то облегчением увидел приближавшегося огромного мужчину, за которым следовал усатый индус в белой рубашке и в черных штанах. Они подошли к столику.

– Надеюсь, я не помешал, мистер Краббе. – Голос низкий, склонный к сильному утреннему кашлю. В свете лампы вырисовались черты огромного желто-коричневого лица.

– Добрый вечер, мем-сахиб. – Алладад-хан поклонился, гордясь своим английским.

– Не валяй дурака, черт возьми, – грубо одернул его Нэбби Адамс. – Прошу прощения, мистер Краббе. Ему моча в голову ударила, вот в чем беда. Ничего не видит. Не возражаете, если я к вам на минуточку присоединюсь? – Сел на крошечный стул, словно отец за кукольный, накрытый к чаю стол. Алладад-хан тоже сел, с изумлением видя, что с мистером Краббе, прячась в тени, сидит не жена, а какая-то женщина. И рассердился на Краббе, способного на подобный обман, па такую измену, когда у него есть золотоволосая голубоглазая женщина-богиня, ждет дома, верит, любит.

– *Дуа бонгол лаги*, Рахима, – сказал Краббе. Рахима покорно пошла принести еще пива.

– Только не из холодильника, – предупредил Нэбби Адамс. – Скажите ей.

– Тут все теплое, – сказал Краббе.

– Помните, вы говорили, что хотите машину? – начал Нэбби Адамс. – У меня тут машина для вас стоит, жутко дешевая. «Абеляр» пятьдесят второго. Всего две тысячи.

– Миль?

– Долларов.

– Чья она?

– Плантатора, который домой едет. Уиверса.

– Риверса?

– Точно. Уиверс тот, кого надо убить.

– Что вы с ней делаете, если она принадлежит Риверсу?

– Ну, смотрите. – Нэбби Адамс придвинулся ближе, доверительно демонстрируя огромные лошадиные зубы, коричневые, черные, сломанные. – Понимаете, он хотел две пятьсот, и я бы не сказал, будто она того не стоит. Но, видите ли, мы вон с ним, – повел он плечом в сторону Алладад-хана, спокойного, разглаживавшего усы, – немножечко поработали, так что я говорю, будто то не в порядке, да сё не в порядке, поэтому он говорит, две тысячи. Регистрация и страховка до конца года.

– Поработали? Для меня?

– Для нас с вами, – уточнил Нэбби Адамс. – Я заключу с вами сделку. Давайте мне эту машину, скажем, дважды в месяц, а я вам ее буду

обслуживать. Техобслуживание и масло. Бензин устроить не могу. Слишком рискованно. Но все прочее.

Вернулась Рахима с пивом. Нэбби Адамс сказал:

– Ваше здоровье, мистер Краббе. Ваше здоровье, мисс...

Алладад-хан сказал:

– *Шукрия, сахиб*, – и жадно выпил.

– Зачем она вам дважды в месяц? – спросил Краббе.

– Чтоб ездить в Мелавас без эскорта. Я, как, наверно, и вы, люблю время от времени выпить бутылку, да нельзя останавливаться, когда этот самый эскорт глядит, как заходишь в кедай. Я, как и вы, не люблю, когда про мои дела слишком много известно.

– Да, – сказал Краббе. – Давайте машину попробуем.

– Никакой спешки, – сказал Нэбби Адамс. – Еще по бутылке.

– *Шукрия, сахиб*, – сказал Алладад-хан.

Нэбби Адамс страстно набросился на него на урду.

– Никто, насколько мне известно, не приглашал тебя тут весь вечер сидеть, выпивать за чужой счет. С тебя на один вечер более чем достаточно, Одурел уже. – И повернулся к Краббе. – Выше себя занесся. Вдобавок выпивку его религия запрещает.

Выпили еще бутылку. Нэбби Адамс оглядел танцзал, пустой, за исключением их собственной компании и пары жирных бизнесменов-китайцев в мятном белом.

– Милое местечко, – неуверенно констатировал он. – Думаю счет тут открыть.

Когда трое мужчин выходили, пожелав Рахиме доброй ночи, а девушка горестно взмахнула рукой, стукнув Нэбби Адамса по ладони пивной кружкой, Краббе почувствовал, что полностью предал ее. На улице стояла машина, поблескивая голубым маслом под сносными фонарями в маленьком саду. Рецидив прошлого, победа Фенеллы над давно побежденной, способ получить от Малайи то, что он хотел узнать. Краббе полез на заднее сиденье.

– Лучше сами попробуйте, – предложил Нэбби Адамс.

– Нет. Я больше никогда не буду водить. Шофера найму.

– Вот тебе шанс, – объявил Нэбби Адамс Алладад-хану. – Можешь возить этого джентльмена и его жену, когда не на службе. Они обязательно тебе заплатят.

– Спасибо. Я – Хан. Я людям не слуга. Однако мем-сахиб с радостью отвезу куда надо.

– У меня для вас есть шофер, – сказал Нэбби Адамс Краббе.



Со временем заключили сделку в маленьком кедае на тимахской дороге. Пиво тут было согрето долгим солнечным днем, и теплая пена успокоила плохой зуб Нэбби Адамса. Алладад-хан был счастлив, глаза его сияли в скудном свете керосиновых ламп. Смирившийся Краббе обещал завтра пойти в Казначейство, получить наличными две тысячи долларов и вручить их Нэбби Адамсу в маленьком кедае возле школы Мансора. Нэбби Адамс обо всем позаботится.

Позже вечером Нэбби Адамс и Алладад-хан привели изувеченную кашлявшую машину к дверям Клуба. Алладад-хан тихо пел пенджабские народные песни про любовь в стогу сена.

– Потихише теперь, – приказал Нэбби Адамс. – Я буду околпачивать этого самого Риверса. Он обязательно удивится состоянию двигателя, не понимая, что мы всего-навсего переладнили несколько проводов и тому подобных вещей.

Риверс был теперь очень пьян. Бегал по Клубу, выкрикивал:

– Выпороть, поколотить, пригвоздить к дверям, приперчить горячим свинцом, ха-ха-ха. Обойтись по заслугам. Говорить на единственном языке, который они понимают. Присолить их как следует, ха-ха-ха. – Раджа Ахмад, адъютант султана, исполнял испанскую хоту. За разбитым роялем сидел Харт, играл старые песни в стиле НААФИ. Раджа Ахмад мирно сидел со своей самой последней женой, рассеянно улыбался, пил джин с тоником. Он был очень стар.

Нэбби Адамс сказал:

– Мистер Риверс, я ее пригнал.

– Для вас, – поправил Риверс, – майор Риверс. Я настаиваю на своих правах. Настаиваю на уважении моего чина. У нас должна быть дисциплина, даже если это будет последнее наше дело. – И вцепился в стойку бара, как в доску для точки кошачьих когтей. – Тысячу восемьсот. Ни пенни меньше.

Нэбби Адамс сказал:

– Пойдите посмотрите.

В теплом ночном воздухе Риверс зашатался, схватился для поддержки за столб веранды.

– Отвезите меня домой сию же минуту, – потребовал он. – Я настаиваю на своих правах. Тут нигде никакой дисциплины.

– Садитесь, – предложил Нэбби Адамс, – и просто послушайте этот чертов мотор.

Риверс рухнул в машину, распростерся на сиденье, крича:

– Дисциплина, сэр. В этом батальоне никакой дисциплины.

Алладад-хан радостно пел за рулем.

– Господи помилуй, – сказал Нэбби Адамс. – Точно свихнулся, будь я проклят. Эй, дай я поведу. – И перехватил руль у Алладад-хана, грубо толкнув его на переднее пассажирское место. Алладад-хап пел о полноте любви, о весенней луне, которая жемчужиной катится над супружеским ложем. Они ехали вниз по дороге на Тахи-Панас.

– Видите, вроде бы начинается, – сказал Нэбби Адамс. – Теперь слушайте вот этот стук. Слышите? Прямо все внутри разрывается. Тысяча пятьсот, цена честная.

Единственным ответом был громкий храп сзади. Риверс отключился, как свет.

– Проснитесь, – взмолился Нэбби Адамс, – послушайте чертов двигатель. Прошу вас, послушайте распроклятый мотор. – Риверс храпел дальше.

Приблизительно в полумиле от поместья Джагут бензин кончился. Нэбби Адамс обиженно ругался с Алладад-ханом.

– Ты должен был проверить бензин. Поэтому у тебя две нашивки. Тебе явно нельзя доверять, так ты плохо работаешь.

– За машину я не отвечаю, сахиб.

– Нет, отвечаешь. Ты ее собирался вести, правда? Нехорошо. Придется оставить ее на обочине.

– Но там сахиб спит. Террористы до него доберутся.

– Ну так похороним его, черт возьми.

– Сахиб?

– Ладно. Толкнем.

И они толкали, с храпевшим в забвении грузом, в глубоком сне растянувшимся на заднем сиденье. Нэбби Адамс бурчал, ругался, поносил Алладад-хана. Алладад-хан в экстазе пел старую песню пахарей. Под сияющей луной преодолевали дорогу. Демоны полу прирученных джунглей бесстрастно наблюдали за ними; змея высунула из травы голову; светлячки мельтешили над ними насмешливыми огоньками. Вдалеке кого-то окликнул тигр. Нэбби Адамс осатанел от жажды.

– Четыреста пятьдесят, – пропыхтел он. – И ни пенни больше. Будь я проклят. И пускай радуется. Ублюдок, – добавил он. – Пьяная сволочь. Ни пенни больше.

– Хе-хе-хе, – сказал инчи Камаруддин, показывая мелкие зубки в веселой улыбке. – Если делать такие глупые ошибки, дечего даже дадеяться сдать экзамены. Если так делать, провалишься. – Он ослепительно ободрительно улыбался.

– Да, – сказал Виктор Краббе. – Но как бы не существует никаких правил. – На столе лежало его упражнение, транслитерация на арабскую вязь. Слова ползли справа налево неуклюжими несоординированными завитками, сбрызнутыми точками. Стоял теплый вечер, несмотря на дождь; шла деловитая жизнь насекомых. Повсюду вокруг приземлялись летучие муравьи, готовые спариться, сложить крылышки и умереть. Крылатые жуки раздраженно пели в стропилах веранды, мелкие мошки и бледная моль пили пот с шеи Краббе. С державшей ручку руки на тетрадь капал пот. Он знал, что в глазах учителя-малайца должен выглядеть мокрым, сальным, желторотым. Инчи Камаруддин улыбался и улыбался, порицая его тупость несказанно радостным взглядом.

– Правил нет, – улыбнулся инче Камаруддин. – Это первое, что вам дадо усвоить. Каждое слово отличается от любого другого. Слова дадо заучивать по оддому. Адгличаде все ищут каких-дибудь правил. До тут, да Востоке, нет правил. Хе-хе-хе. – Он хихикал, радостно потирая руки.

– Хорошо, – сказал Краббе. – Ну, давайте посмотрим на специальные слова для малайских особ королевской крови. Хотя за каким чертом нужно употреблять другие слова, чем для прочих людей...

– Хе-хе-хе. Всегда так было. Таков обычай. Когда простой человек ложится спать, дадо сказать *тидор*. А султады всегда *бераду*. Коредь этого слова здачит, что между далождицами проходило певческое состязание. Победительница спала с султадом. Хе-хе-хе. – Он потер брюшко, изображая поддельную похотливость.

– И у султана Лаичапа проходят такие конкурсы талантов?

– У дыдешдего султада? Теперь все идаче. – Инчи Камаруддин с готовностью вытащил из стопки книг и прочих учебных пособий малайскую газету. – Видите, сегодняшние довести. – Краббе прищурился на арабские письма, медленно расшифровывая. – Если бегло читаете, будете в курсе последдего скаддала. Хе-хе-хе.

– Он собирается снова жениться? На китайке?

– Султад проиграл мдого дедег да скачках в Сидгапуре, и да скачках в

Пидадге, и да скачках в Куала-Лумпуре. Султад задолжал мдого дедег.

– Моя ама всегда говорит, он ее отцу должен.

– Вполде возможно. Хе-хе-хе. Эта китайская девушка – дочь хозяида оловяддого руддика, богатейшего в штате. У султада будет оловяддая жеда. Хе-хе-хе. – Богатая шутка. Инчи Камаруддин покачивался от радости.

– До чего вы любите скандалы. – Краббе то-лераитно улыбнулся своему учителю. Инчи Камаруддин был в экстазе. Вскоре стал чуть серьезнее и продолжил:

– Вижу, в школе Мадсора прибавилось деприятдостей. Машида директора поцарапада, шиды проколоты.

– Я не знал, – сказал Краббе. – Он ничего никому не рассказывал.

– Разумеется, де рассказывал, – улыбнулся инчи Камаруддин. – Идаче потерял бы лицо. До побил палкой трех старост, и теперь месть. Будет хуже. Мятеж будет.

– Они на это не способны, вы же знаете. Такое бывает только в школьных байках.

– Попытаются. Дачидают политически мыслить. Про белых угдетателей рассуждают. – Инчи Камаруддин широко усмехнулся и затрясся от радости.

– Как вам удалось услышать подобные вещи?

– Хе-хе-хе. Всегда есть пути и способы. В школе Мадсора будут крупные деприятдости, вердей дичего быть де может.

– Так. А что ваши осведомители в Куала-Лумпуре говорят про официальное отношение к нынешнему режиму?

– В школе Мадсора? Дичего де здают. Власти очедь довольды руководством мистера Бутби. А вами де очедь довольды. – Инчи Камаруддин усмехнулся, содрогнулся и пропел нисходящей гаммой: – Хе-хе-хе.

– Да? – забеспокоился Краббе. – Почему?

– Получеды сообщедия, что вы де выполняете просьбы мистера Бутби. А еще рассказывают про вашу дружбу с малайской жедщидой. Только не беспокойтесь дасчет подобдых вещей. НООМ вами вполне довольда, и, когда НООМ будет править страной, вы без труда получите хорошее место. Оддако первым делом, – инчи Камаруддин постарался на миг принять очень серьезный вид, – первым делом, – лицо его постепенно светлело, – вам дадо экзаеды сдать. Им требуется адгличадид, владеющий языком. – Инчи Камаруддин стукнул по столу из ротанга аккуратным коричневым кулаком. – *Мисти лулус. Мисти лулус.* Вы должды сдать экзаед. Но не сдадите, если будете делать такие глупые ошибки. – Широко, заразительно

усмехнулся и застыл в тихой радости.

– Хорошо, – сказал Краббе. – Давайте еще почитаем «Хикаят Абдулла». – В душе он был обеспокоен, но на Востоке есть кардинальное правило – не проявлять своих истинных чувств. Любую правду надо укутать в обертку, чтоб увидеть и потрогать только после терпеливого развязывания массы веревочек и разворачивания бумаги. Истинные чувства следует замаскировывать, демонстрируя равнодушие или даже совершенно иные эмоции. И теперь он спокойно переводил сложную малайскую историю мунши, протеже и друга Стамфорда Рафлса.

«Однажды туан Рафлс мне сказал: «Туан, я собираюсь ехать на корабле домой через три дня, поэтому собери мои малайские книги». Когда я это услышал, сердце сильно забилося, душа лишилась отваги. Когда он мне сказал, что отплывает обратно в Европу, я больше не мог устоять. Мне казалось, будто я теряю отца, мать, глаза мои заволоклись слезами».

– Да, да. – Инчи Камаруддии заплясал в кресле. – Вы должды подять смысл.

– Значит, они иначе к нам относились, – сказал Краббе. – Думали, у нас есть что-то, что мы им можем дать.

– У вас до сих пор есть что дать, – заявил инчи Камаруддии, – оддако в свободдой Малайе должды править малайцы.

– А китайцы? Индусы, евразийцы?

– Оди де считаются, – буркнул инчи Камаруддии. – Оди малайцам де друзья. Малайя для малайцев.

Работа над переводом остановилась, вновь начались старые политические раздоры. Краббе проявлял рассудительность, подчеркивал, что китайцы сделали страну экономически богатой, британцы принесли законы и правосудие, а большинство малайцев – индонезийские иммигранты. Инчи Камаруддин разгорячился, возбужденно замахал руками, страстно скалился, наконец, крикнул:

– Мердека! Мердека! Свобода, дезависимость, самоопределение для малайцев!

– Собственно, мердека – санскритское слово. – указал Краббе, – иностранное заимствование.

Из ближайшего дортуара послышался плач разбуженного шумом мальчишки.

– Лучше нам закончить, – сказал Краббе. – Мне надо обойти дортуары.

Инчи Камаруддин пошел вниз по лестнице к велосипеду, помахал на прощанье, показал зубы в последней на вечер широкой улыбке.

– Здачит, до четверга, – сказал он.

– До четверга, – сказал Краббе. – *Терима касен, инчи. Селаматп джалан.*

И начал обход темных замерших дортуаров, думая о словах учителя. В Малайе мало что хранилось в секрете. Тайная, по его мнению, связь была уже явно избитой городской новостью, устаревшей новостью для Бутби. Он себя уронил. Нарушил неписанные законы белого человека. Отверг мир Клуба, гольфа по выходным, званых обедов, теннисных партий. Машину не водит. Ходит, потея, пешком по городу, помахивая своим азиатским приятелям. Связался с малайской разведенкой. И конечно, Фенелла не лучше. Она отвергла мир белой женщины – маджонг, бридж в компаниях за кофе – по иным причинам.

Внезапно почувствовал укол тревоги насчет Фенеллы. Сегодня вечером в Тимахе первая встреча Общества любителей кино. Краббе отказался поехать, сославшись на невозможность отменить урок малайского языка. Она заявила, что бессмысленно брать уроки малайского, бессмысленно сдавать государственные экзамены, когда они не собираются оставаться в стране. Ему страна нравится, и, если ей хочется быть покорной женой, пусть постарается полюбить ее. Ее долг – следовать за своим мужем. Раз уж он решил сделать в этой стране карьеру, что ж, ее долг ясен. Если она не хочет быть покорной женой, пусть лучше вообще не будет женой, пусть лучше оставит его. Он не дошел бы до этого, не будь нервы на пределе из-за тяжелого школьного утра. Она заплакала, сказала, он ее не любит, и прочее. Он попытался пойти на попятную, но она бросила неизбежную ссылку на первую жену. Тогда он ожесточился, охладел, наделал глупостей. В семь часов Алладад-хан подал машину, и она отправилась в Тимах одна; то есть одна, не считая почтительного, сдержанного присутствия Алладад-хана. Возвращение ожидалось не раньше чем через час. И теперь он слегка беспокоился из-за возможной засады, поломки машины за много миль отовсюду, испуга Фенеллы темной ночью. Наверно, это нечто вроде любви. Краббе отмахнулся от мыслей, больше не желая думать об этом, тихо ступая между рядами мальчишеских коек.

Из комнаты старост доносился легкий шепот. Голубоватый свет, как бы от затененной лампы, виднелся под дверью. Краббе подкрался к ней, встал, чуть дыша, прислушался. Он не понимал разговора, почти не понимал по-китайски. Впрочем, было ясно, разговор не простой, не обычный для спальни; слишком значительный для одного голоса. Потом нечто вроде катехизиса: вопрос, тихий хоровой ответ. Краббе открыл дверь и вошел.

Шу Хунь открыл изумленный рот, поднял брови над очками,

сползшими к кончику носа. Другие мальчики глянули вверх с пола, с коек, где они сидели. Все в пижамах.

– Что происходит? – спросил Краббе.

– У нас собрание, сэр, – сказал Шу Хунь. – Мы создали Китайское общество.

– А где другие старосты, Нараянасами и прочие?

– Они комнату нам оставили, сэр. Сами внизу, читают в уборных.

– Вам известно правило насчет света?

Нет ответа. Краббе смотрел на мальчиков. Два-три старосты, остальные просто старшеклассники.

– Что это за общество? – спросил он.

– Китайское общество, сэр.

– Это вы уже говорили. Чем оно должно заниматься?

– Обсуждать всякие вещи, сэр, представляющие всемирный интерес.

– Что это за книга? – спросил Краббе.

– Эта, сэр? – Шу Хунь протянул ему тоненькую брошюру. – Книга по экономической теории, сэр.

Краббе взглянул на фантастические столбцы иероглифов. Он знал лишь два-три символа: «человек», «поле», «свет», «дерево», «дом», – собственно, пиктограммы, простые изображения простых вещей. И неожиданно бросил вопрос одному из сидевших на корточках мальчиков:

– Вы. Сформулируйте доктрину прибавочной стоимости.

Ошеломленный мальчик затряс головой. Шу Хунь оставался учтивым, бесстрастным.

– Шу Хунь, – продолжал Краббе, – как в Малайе произойдет революция?

– Какая революция, сэр?

– Слушайте, – сказал Краббе. – Я подозреваю самое худшее. Подозреваю, что это класс идеологической подготовки.

– Я таких слов не понимаю, сэр, – сказал Шу Хунь.

– Поосторожнее, – предупредил Краббе. – Книгу я заберу. Выясню, что за книга.

– Книга хорошая, сэр, по экономической теории. Мы интересуемся такими вещами, и имеем право, сэр, обсуждать их на своем родном языке. Нам не дают другой возможности собираться с такой целью. Либо домашнее задание, либо игры, либо дебаты по-английски.

– Вы здесь затем, чтобы получить британское образование, – объявил Краббе. – Хорошо это или плохо, не мне судить. Хотите создать дискуссионную группу, спросите меня. А вы нарушаете правила, не лежите

в постелях, выключив свет. Я должен доложить об этом. А теперь все сейчас же ложитесь.

Вернулся в собственную квартиру, весьма обеспокоенный. Налил себе чуточку виски, сидел, курил, глядел на брошюру. Большой кричащий иероглиф на обложке не имел для него ни малейшего смысла. Надо будет спросить о ее содержании Ли, учителя математики. Но он был уверен, что Бутби ничего не сделает. А также был уверен, что в других пансионах проходят другие идеологические собрания. Идеологическая подготовка подразумевает преследования. Есть еще великая традиция частных привилегированных школ – не ябедничать.

Краббе беспокойно расхаживал по большой гостиной, в конце концов остановился, оглядывая корешки книг за запотевшим стеклом стандартного книжного шкафа. Некоторые книги остались от его университетских времен – поэты вроде Одена и Спендера, романы Ишервуда, Дос Пассоса, Андре Мальро. В ту пору он сам какое-то время был коммунистом; так было принято, особенно в годы Испанской войны. Вспоминал студента-инженера с распухшим ртом, у которого имелось полное собрание сочинений Ленина и который с легкостью применял диалектический материализм ко всем человеческим функциям – выпивке, занятиям любовью, фильмам, литературе. Вспоминал девушек, которые ругались, курили одну за другой сигареты, целенаправленно культивировали непривлекательность; вспоминал компании, где их встречал, песни, которые они пели в компаниях:

Три, три, Коминтерн,  
Оппозиция, два, два,  
Это все одно и то же.  
А один – Союз Труда,  
Навсегда.

Теперь эти воспоминания пахли старыми яблоками, превратились в засушенные цветы. Может быть, эти мальчики точно такие же, каким был он, сгорая от юношеского желания переделать мир, и к этому следует относиться столь же несерьезно? Шу Хунь хорошо успевает по истории. Краббе хотел, чтобы он поехал в Англию, получил там степень. Перед ним будущее. Неужели он в самом деле считает засады, выпущенные кишки, отрубленные невинные головы обязательным и неизбежным шагом к свободе и счастью Востока? А знает ли этот молоденький мальчик, что



такое власть и стремление к власти?

Краббе услышал поющий вверх гамму автомобиль, огибавший длинную подъездную дорогу. На часах было почти двенадцать. Машина остановилась у веранды, послышались короткие слова, хлопнула дверца, потом автомобиль снова поехал, распевая гамму вниз на дороге у реки, ведущей в город. Слышно было, как Фенелла поднимается по лестнице. Он пошел к дверям ей навстречу. И сказал:

– Привет, дорогая.

Она выглядела раскрасневшейся, радостной, позабывшей дневную ссору. И сказала:

– Вот и я.

Они поцеловались.

– Хороший был фильм?

– Ох. – Она направилась вперед него в гостиную. – Дай мне сперва выпить. Разбуди Ибрагима, пусть льда принесет.

– Ибрагим еще не вернулся. Тоже в кино пошел.

– Ну, плевать. Кажется, вода вполне холодная. – Села, томно шлепнувшись, выпила разбавленного джина. – Ну, – сказала она, – история довольно длинная. Мы так и не попали в Тимах.

– Не попали?

– Ты что-нибудь знаешь об этом шофере, как его, Хан какой-то там.

– Ничего. А что?

– Ну, мы по дороге сломались. По крайней мере, он сказал, что сломались. Умудрился привести машину в какое-то поместье, очень кстати оказавшееся поблизости, по-моему слишком кстати. Наверно, машина кашляла немножко, но, думаю, до Тимаха можно было доехать. Сказал, знает нескольких тамошних специальных констеблей и шофера из поместья. Сказал, машину можно починить.

– Он говорит по-английски?

– Нет, по-малайски. Но я понимала. Мне действительно надо язык выучить, Виктор. Глупо не знать малайского, живя в Малайе.

– Вот как, моя дорогая. Совсем новая нота.

– Ну, собственно, я сегодня хотела бы многое выяснить, а никто не говорил по-английски. Все немножечко знают малайский.

– Что ты хотела выяснить?

– Ох, история длинная, длинная. Приехали мы в то поместье, там какая-то компания. В основном тамилы. Как бы какая-то религиозная церемония, но в то же время не религиозная. Самые невероятные вещи. Ты даже представления не имеешь.

– Например?

– Ну, одни ходили босиком по битому стеклу, другие протыкали ножом щеку, один кинжал проглотил. Песни пели. И мы пили вонючий напиток, который называется тодди.

– Ох.

– Ты его когда-нибудь пил?

– Да, немного.

– Ну, ничего, если нос затыкать. Вполне пьянит, очень мягко.

– И правда.

– Я выпила довольно много. Они всё наливали. Правда, вечер был очень интересный. Как в «Золотой ветви». [\[30\]](#)

– Но ты фильм пропустила.

– Да, фильм я пропустила. Все равно, меня на самом деле никогда не привлекал «Броненосец «Потемкин». Следующий не пропущу.

Перед тем как заснуть, Фенелла сказала:

– Знаешь, этот самый Хан, шофер, действительно вполне милый. Очень внимательный. Хорошо бы только понимать, что он мне говорил. Похоже было на комплименты. Все прямо как в романе, правда? – добавила она. – Как в каком-нибудь дешевом романе про Каир и всякое такое. – Она немножечко похихикала, потом провалилась в сон, очень тихо похрапывая.

Пока она счастливо спала, двое мужчин счастливо бодрствовали. Одним из них был Алладад-хан. Он надулся от гордости, снимая перед зеркалом рубаху. Напряг мускулы, обследовал зубы. Испробовал разнообразные мины, закончив сладострастной ухмылкой, которая, как он понял, фактически была ему не к лицу. Принял выражение спокойного достоинства, гораздо более подобавшее Хану. Потом сказал в зеркало несколько слов по-английски.

– Прекрасно, – сказал он. Поискал соответствующее наречие. – Чертовски прекрасно, – сказал он. Завтра надо одолжить книжечку у Хари Сингха. Потом повернулся к фотографии своей жены и драматически усмехнулся над крепким длинным носом и уверенной рукой, положенной на свое новобрачное изображение. – Глупая сволочь, – сказал он. – Врунья проклятая. – И, удовлетворенный, лег в постель.

Лежал, куря последнюю сигарету. Жена запрещала курить в постели, так как он однажды прожег простыню. Жены нет, некому заставлять его соблюдать правила, но, Аллах, она скоро вернется с вопящим младенцем. Когда она вернется, он еще немного утвердится в своем мужском праве. Еще одно упоминание про ее брата, и он прибегнет к грубому слову. Может, даже слегка побьет, хотя бить женщину по Корану не следует.

*'Тида'ана.*

Миссис Краббе, думал он, очень хорошо провела вечер, причем это ничего не стоило. Сначала боялась, но примерно от пинты свежего тодди все прошло. Друзья, думал он, вели себя отлично. Не рыгали, не слишком плевались. Часто и ободрительно улыбались. Ее явно заинтересовало увиденное. Хорошо, что не понимала услышанных песен. Надо, чтобы в другой раз машина сломалась возле кедая, возле какого-нибудь более изысканного кедая, где есть лед. Там можно завести хороший долгий разговор. К тому времени надо немножко выучить английский.

– Чертовски хорошо, – сказал он. Потом, довольный, повернулся к стене и заснул.

Другим счастливым мужчиной был Нэбби Адамс. Старик Робин Гуд отвез его в Пинанг. На следующий день там было назначено совещание транспортных служащих контингента в Баттеруорте, и Гуд нуждался в технических консультациях Нэбби Адамса. Нэбби Адамс сидел теперь в довольно высококлассном кедае, поистине очень милом.

Он приехал в Пинанг с двумя долларами. Гуд дал денег на номер в отеле, но ничего на расходы. Два доллара предстояло тщательно распределить. Сначала купить бутылку на завтрак. Бутылка была куплена, потом тщательно спрятана в тумбочке, где стоял также ночной горшок. После чего остался один доллар на вечер, один доллар, чтобы испробовать разнообразные удовольствия цивилизованного города, именуемого Жемчужиной Востока.

Нэбби Адамс зашел в кедай, заказал маленькую бутылку «Якоря». Ну, как правило, другие выпивохи, даже незнакомые, щедрей всего в том случае, когда у тебя много денег в кармане. А когда ничего – на ничего и нет ничего. В данном случае дело пошло по-другому. Ювелир-китаец сказал:

– Выпивку лейтенанту полиции. Это они очищают страну от подонков коммунистов. – Нэбби Адамса угостили большой бутылкой «Тигра». Он возразил, что у него денег нет для расплаты за подобную щедрость. Ему сказали, не имеет значения, лейтенант полиции достоин любой услуги. Скоро пришли приятели ювелира-китайца, тепло встреченные ювелиром-китайцем. Они тоже высоко ценили экспатрианта, лейтенанта полиции, тоже ему поставили большие бутылки «Тигра». Вскоре на столе перед Нэбби Адамсом стояло восемь больших неоткупоренных бутылок «Тигра». Потом кто-то заметил:

– Лейтенант полиции очень медленно пьет.

Кто-то добавил:

– Слишком медленно.

Кто-то предположил:

– Может, если бы лейтенант полиции выпивал бренди перед каждой бутылкой пива, легче бы с ними справился.

Мысль признали хорошей. Вскоре на столе стояли восемь стаканов с бренди. Они существенно помогли справиться с пивом. И теперь Нэбби Адамс быстро беседовал на урду с парой бизнесменов-бенгальцев, которые часто серьезно согласно кивали. Время от времени к столу подскакивал ювелир-китаец, кричал:

– Еще выпивки лейтенанту полиции. Надо вознаградить их за храбрость.

Шутки в сторону, это был лучший, черт возьми, вечер у Нэбби Адамса за долгое время.

Тем временем Виктор Краббе видел сон. Он был в кабинете Бутби. Кабинет растягивался и сокращался, как огромный зевающий рот. Бутби сидел в своем кресле, держа Рахиму на коленях. Рахима явно обожала Бутби, ибо часто его целовала, даже когда он зевал. Бутби просматривал китайскую брошюру и говорил:

– Если б вы пробыли в Федерации столько времени, сколько я, умели бы читать на этом языке. Тут только сказано, что надо активизировать террористическую деятельность, особенно в нашей школе. Вот в чем ваша беда, Краббе, у вас опыта нет. Не можете выполнять приказы, не можете дисциплину поддерживать, мальчишки смеются над вами у вас за спиной.

На краю высоко под потолком томно возлежала Фенелла и говорила:

– О, милый, я так рада, так рада.

– Ладно, ребята, – сказал Бутби, – устройте ему развлекательную прогулку.

Вошел старший клерк, а с ним два рассыльных индуса в фуражках с надписью *бинтанг тига*, с тремя звездочками. Втолкнули его в красивый «абеляр» на водительское сиденье и говорят:

– Ну, теперь сам давай.

Но сам он ничего не мог. Закутанная фигура на пассажирском сиденье говорила:

– О, милый, я так рада, так рада.

Они проломили ограждение моста.

– Кто когда-нибудь слышал про лед в Малайе? – зевнул Бутби.

Нэбби Адамс сказал:

– Терпеть не могу холодное.

Они летели с моста в январские темные воды.

– Так я подумал, может, захотите поехать, – сказал Нэбби Адамс.

– Да, – сказал Краббе. – Пошли, пива выпьем. – Он страдал от дневных неудач. – Садитесь, Алладад-хан. Я имею в виду, *сила дудок*.

– *Шукрия, сахиб*. – Алладад-хан с готовностью сел на один из четырех расставленных у стола стульев под вертевшимся вентилятором и разгладил усы, робко оглядываясь вокруг. Значит, вот где она живет. Красивая мебель от Министерства общественных работ, много книжек на неизвестном языке, цветные картины на стенах. На столике лед в ведерке и джин. Но где она?

– Думаю, моей жене вполне может поправиться, – сказал Краббе. – Выпейте джина, Нэбби.

– Нет, спасибо, – сказал Нэбби Адамс. – Воды не надо. Я просто так люблю. – И, не поморщившись, проглотил огромный глоток чистого спирта. Алладад-хан робко сделал то же самое и зашелся в приступе кашля.

– Вот в чем его проблема, будь я проклят, – ровным тоном сказал Нэбби Адамс. – Думает, может выпить, а не получается. Давайте-ка, – добавил он, – наливайте до ровного счета, пускай хоть с ведерко.

Не повезло, – она пришла именно в тот момент, когда он, Алладад-хан, покраснел под коричневой кожей от кашля, глаза полны слез, огонь в кишках. Ему хотелось быть спокойным, благовоспитанным джентльменом, говорить на тщательном английском: «Добрый вечер, мем-сахиб. Спасибо, мем-сахиб». Она пришла, изящная в тонком цветном одеянии, изящная и одинокая.

– Не обращайтесь на него внимания, миссис Краббе, – сказал Нэбби Адамс, спокойно оставшись сидеть. – Просто всю душу выкашливает.

Фенелла оценила. Всю душу выкашливает. Так можно было б сказать о любом поэте-туберкулезнике. Когда-нибудь надо это использовать.

– В Истане большой праздник, – сказал Краббе. – Интермедии, танцы.

– И две палатки с пивом, – добавил Нэбби Адамс. – Понимаете, день рожденья султана. Завтра, я имею в виду. Думаю, может быть, захотите поехать. Будете в полной безопасности с двумя мужчинами. И вон с ним, – кивнул он.

– Да, – согласилась Фенелла. – С большим удовольствием.

– Никакой спешки нету, – предупредил Нэбби Адамс. – До девяти не начнется. – И уважительно посмотрел на бутылки в буфете. Чертовски

хорошая мысль пришла Алладад-хану явиться сюда с подобным предложением. Надо будет еще раз прийти. Наверно, у Краббе и пиво на кухне имеется.

Алладад-хан перестал кашлять. И теперь сказал с тщательной артикуляцией:

– Добрый вечер, мем-сахиб.

– О, – спохватилась Фенелла. – Добрый вечер.

– Немножечко запоздал, а? – презрительно заметил Нэбби Адамс. Потом долго говорил на урду. Алладад-хан долго отвечал на урду с томными горящими глазами. Нэбби Адамс хмыкнул и сказал: – Если не возражаете, я у вас сигарету возьму, мистер Краббе.

– В чем дело? – поинтересовалась Фенелла.

– Говорит, тяжело у него на душе, оттого что таким чертовым дураком выставился, – объяснил Нэбби Адамс. Потом задохнулся от ужаса. – Прошу прощения, миссис Краббе. Просто слово выскочило, я не хотел, тем более при леди, прошу прощения, правда.

Прощенный Нэбби Адамс выпил еще джина. Алладад-хан довольствовался шерри. Аллах, какой хороший напиток. Он облизнулся. Богатый, запашистый, подкрепляет. Аллах, надо будет купить.

– Не возражаете, если я в таком виде пойду? – спросил Нэбби Адамс. – Понимаете, не возвращался в столовую. Нам с ним поработать пришлось. – Оглядел свою рубашку в пятнах, длинные-длинные мятые брюки. – И ванну не принял. Только, по-моему, кое-кто чересчур часто моется. Нет, шутки в сторону, правда. Ну, я кое-кого знаю, кто дважды в день моется. Честно. Кейр, например. Вы его не знаете, миссис Краббе. И знать бы не пожелали. Скупой? Скупой, как чер... Жутко скупой. Принимать ванну ему никаких денег не стоит. Вот как он время проводит. – Тут Нэбби Адамс рискнул пошутить. – Я дьявольски хорошо сполоснулся на пароходе по дороге сюда, – сказал он.

– Правда? – сказала Фенелла.

– Хватит до конца срока службы.

Краббе переживал дневное унижение. Китайская брошюра оказалась катехизисом учения Карла Маркса. Он отнес ее Бутби, и Бутби зевнул. А потом говорит:

– Мне все об этом известно. Тот самый парень – как его там? – пришел и сообщил, что старается показать тем парнишкам, где коммунизм ошибается. Сообщил, что вы этому не слишком симпатизируете, а по его понятию дело учителей рассказать малайской молодежи правду о коммунизме. Ну, не пойму, чего вы шум поднимаете. В вашей программе

написано. Минуточку. – Порылся в папке. – Вот. «Политические идеи XIX века. Утилитаризм. Бентам и Милль. Кооперативное движение и Роберт Оуэн». Вот оно. «Социализм. Карл Маркс и экономическая интерпретация истории». Ну, парень только пытался сделать то, что вы должны были сделать.

– До этого мы еще не дошли.

– Хорошо. Только не обвиняйте его за попытку сделать ваше дело. В любом случае, парень хороший. Вы сами так сказали в отчете, который я просил. Сказали, что он обязательно должен продолжить учебу.

– Говорю вам, мне это не нравится. Слишком пахнет тайным обществом. Вдобавок нарушаются правила насчет выключения света.

– Внутренняя дисциплина – ваша забота. Ко мне по этому поводу не приходите.

– Пока дело не касается обвинений эротического характера?

– Я не совсем понимаю.

– Когда молодые люди общаются с девушками в комнате пансионного боя.

– Да, – с силой подтвердил Бутби. – Кстати, вспомнил. Махмуд бен как-его-там из вашего пансиона. Его видели с девушкой на спортплощадке, рука об руку, мечта юной любви. Вы так ничего и не сделали, правда?

– Мне ничего об этом не известно.

– Вот именно, – с веским триумфом заключил Бутби. – А мне известно. Если ребятам хочется допоздна заниматься, готовясь к экзаменам, и из общего интереса, и всякое такое, тут вы начинаете вмешиваться. Может быть, потому, что не желаете этого видеть.

– Что вы хотите сказать?

– То, что сказал.

– Слушайте, Бутби, – сказал Виктор Краббе. – Как вам понравится хороший втык в морду?

Бутби изумился, разинув рот. Потом усмехнулся, а раз рот уж наполовину открылся, заодно решил зевнуть. И зевнул.

– Идите работайте, – приказал он. – Больше я ничего не скажу. Вы новичок, вот в чем ваша беда. В этой стране со многим можно справиться, если действовать спокойно. Научитесь.

Вернувшись бесконечно тянувшимся утром в пансион Лайт, Краббе имел тихую беседу с Шу Хунем. Мальчик на веранде вежливо слушал, вежливо отвечал, попивал апельсиновый сок.

– Я вам рассказывал, что происходит, сэр.

– Да-да, но вы мне всей истории не рассказали. Я хочу знать, что

действительно у ребят на уме.

– Да, сэр.

– Вы не удивитесь, – Краббе заговорщицки подался вперед, – не удивитесь, что я сам в политике, так сказать, радикал?

– Нет, сэр. Вы в классе говорите о свободе Малайи.

– А, – сказал Краббе. – Как нам добиться свободы Малайи?

– Через представительство, сэр. Через свободные выборы и партийную систему.

– С какими партиями?

– С партиями, которые представляют народ, сэр.

– Малайская коммунистическая партия представляет народ?

– Конечно нет, сэр. Она представляет Москву и красный Китай.

– Как вы относитесь к красному Китаю?

– Я малаец, сэр. Я здесь родился.

– Сказать вам конфиденциально, что я думаю? Я думаю, что в свободной стране должно быть место всем оттенкам политических мнений, всем политическим убеждениям. Запрет принадлежности к какой-либо конкретной партии не кажется мне совместимым со столь желанным принципом свободы.

– По-вашему, сэр, чрезвычайное положение должно быть отменено?

– Я... – Краббе смотрел в бесстрастные глаза близко поставленные, скошенные, как бы в вечной насмешливой маске. – Я хочу знать ваше мнение.

– Его нельзя отменить, сэр. Коммунисты пытаются и убивают невинных. Они препятствуют всем нашим планам социального и экономического развития. Это зло, сэр. Оно должно быть уничтожено.

– Будь у вас шанс, вы сами пожелали бы их уничтожить?

– Да, сэр.

– Вы китаец. Подумайте. Если бы ваш отец, брат, сестра прятались в джунглях, пытали и убивали, как вы говорите, невинных, захотели бы вы помочь уничтожению собственных родных и близких?

– Собственных...

– Родных и близких. Своей плоти и крови.

– О да, сэр.

– Вы убили бы, скажем, сестру?

– О да, сэр.

– Спасибо. Это все, что мне хотелось узнать.

Шу Хунь встал, озадаченный.

– Мне теперь можно идти, сэр?



– Да. Можете теперь идти.

Добился ли он в самом деле чего-то от парня? Подростки подхватывают модные услышанные или прочитанные словечки, говорят грубо, черство. В любом случае, если Шу Хунь руководит коммунистической группой, большое ли это имеет значение? Доктринерская болтовня, половозрелая суета. Могут они сделать что-то существенное? Краббе вдруг увидел себя маленьким сенатором, охотником на ведьм, выискивающим грабителей под кроватью, подслушивающим в замочную скважину, устанавливающим записывающие устройства. Может, пусть лучше мальчики допоздна Маркса читают, чем упиваются киномифами или тяжело дышат над комиксами? Краббе смутно стыдился себя, но все равно беспокоился.

И очнулся. Ибрагим с огненно-красными кудрями вошел в комнату, усмехаясь, чуть покачивая Алладад-хану бедрами. Вид у Алладад-хана был смущенный.

– *Макан налам уни, мем?*

– Не будем обедать, – сказала Фенелла. – Уходим.

Нэбби Адамс еще чуточку пошутил.

– *Ада байк?* – обратился он к Ибрагиму.

– *Ада байк, туан.*

– Моторный или педальный?<sup>[31]</sup> – уточнил Нэбби Адамс. Бутылки в буфете привели его в хорошее расположение духа. Ибрагим вышел на смазанных маслом бедрах, улыбнувшись из дверей па прощанье Алладад-хану. – Полно тут таких. Когда я был в Индии, принял одного за женщину рядом в бане. Понимаете, миссис Краббе, разделся, чтоб ополоснуться. Надо было, потому что от меня немножко воняло. Ну, вижу, волосы до пояса; думаю, раз пришла сюда, знает, чего надо ждать. Ну, захожу, миссис Краббе, она поворачивается и наносит мне самый сильный удар за всю жизнь: у нее борода. Фактически то был мужчина, сикх, понимаете, миссис Краббе, у них не разрешается прикасаться к телу ножницами или бритвой. Ну, говорю, извиняюсь, прощенья прошу, впрочем, он всей душой, если вы понимаете, что я имею в виду, миссис Краббе. Ох, – добавил он, – наверно, не стоило мне рассказывать эту историю.

Когда Нэбби Адамс прикончил полбутылки джина начисто, а Алладад-хан, всецело поглощенный чудом, принял три стакана шерри, пришла пора ехать. Алладад-хан с осторожностью продвигался по улицам, празднично украшенным лозунгами с надписью «Да здравствует султан». Инчи Сидек, местный медицинский инспектор, целый день ходил по магазинам, продавал эти лозунги по астрономическим ценам, угрожая каждому тукаю

закрытием на основании несоответствия санитарным требованиям, если не купит. Толпы пешеходов и велосипедистов кишели на дороге к Истане. Когда автомобиль въехал на территорию Истаны, полисмен козырнул Нэбби Адамсу. Тот лениво махнул рукой, покачиваясь на мягком сиденье.

– Видите, – сказал он. – Нас без звука пропустят. – Другие автомобилисты шумели, ерзали, виляли на забитой стоянке за воротами. – Иногда полезно иметь рядом с собой офицера полиции, – сказал он, вспоминая про выпитый джин и про пиво, которое выпьет; все за счет Краббе.

Территорию весело украшали деревья, увешанные разноцветными фонарями; дымили жаровни продавцов еды; шумели подмостки, где шли представления; музыка ронггенга, китайская опера, индусские барабаны, коричневые и желтые лица над лучшими нарядами, сверкающие глаза, широко открытые на щедроты султанского угощения. Поставив машину под звездами, вся компания вчетвером двинулась вниз по центральной дорожке, Нэбби Адамс – огромный, целый минарет в ошеломленных глазах ребятишек, разинувших рот. Остановились у *вайянг купит*.

– Вроде игры теней, – пояснил Нэбби Адамс, хотя объяснений не требовалось. На подсвеченном экране плавали героические фигуры, трепеща, словно мошки; усатые индийские воины, похожие на карточных королей, деревянно держали мечи, сражаясь с бессильным котенком – чудовищным тигром. Мастер кормил неподвижные губы огромных картонных принцесс эпическим быстрым малайским. Неумолчно били барабанчики, каплями звякали крошечные колокольчики. Толпа поглощенно глазела, кроме задних рядов, которые, завидев маяк Нэбби Адамса, в благоговейном страхе таращились на странный квартет: золотоволосая женщина, белый школьный учитель, коричневый пошатывавшийся индус, желтокаменная скала – Нэбби Адамс. Может быть, это тоже подарок султана?

Вместе с китайским писклявым подсвеченным представлением в обрамлении огромных монолитных, живописно написанных лозунгов, где жонглеры жонглировали горящими факелами, а тоненькие женщины визгливо дули в единственный саксофон, гремели в барабан. Вроде малайского спектакля с привычными персонажами – смешными ростовщиками, отцом, которого разорил блудный сын, – с персонажами, перекочевывавшими из приличного дома среднего класса в лачугу аттап, дистиллированная капля философии: *тида'ана*. Вместе с песнями на хинди из бесконечных строф без передышки; вместе с площадкой ронггенга, где беспрерывно танцевали девушки, а ухмылявшиеся молодые малайцы

ждали своей очереди наступать и отступать, покачивая бедрами, вытянув руки, как бы для робких объятий.

– Я тоже умею, – сказал Нэбби Адамс. Его суровый, усиленный джином взгляд был устремлен на изящных девушек в лучших байю и саронгах, отступавших к краю площадки, снова двигавшихся вперед к оркестру, протягивая подвижные руки к партнерам, которых нельзя касаться, которые не должны их касаться. Нэбби Адамс взглянул на ожидавшую очередь влажно-коричневой улыбавшейся молодежи с тонкими талиями. – Когда очередь чуточку рассосется, – сказал он, – тоже пойду плясать.

Нашли столик на свежем воздухе у ближайшей пивной палатки. Вокруг пылали костры и жаровни продавцов сате, тянулись прилавки, заваленные арахисом и кусками кокосовых орехов, нефелиумом, разноцветными сладостями, бананами, тепловатыми желтоватыми сладкими напитками. Краббе купил всем сате: крошечные кусочки и ломтики мяса с пылу с жару на деревянных вертелах, которые надо было макать в огненный тепловатый соус, есть с резаной картошкой и огурцом. Прибыло пиво, к нему блюдо со льдом, быстро вновь превращавшимся в теплую воду в потной ночи.

– Не пойдет ему пиво на пользу после всего того шерри, – сказал Нэбби Адамс. – Все равно, если думает, будто может, пусть пробует. Всю душу выблюет, миссис Краббе, – серьезно, цинично добавил он. – Обождите, увидите. – И углубился в длинный туннель ворчливого урду. Про кого можно сказать, душу выблевал, гадала Фенелла. Джеймс Джойс? Генри Миллер? Она многому учится у огромного помятого мужчины. Алладад-хан, совсем не помятый, отглаженный, накрахмаленный, в белой рубашке и черных брюках, сидел рядом с ней. Какими розовыми кажутся ногти на его коричневых пальцах.

К их столику подошел толстый инчи Сидек, хрипло, быстро забормотал на приблизительном английском с постоянно повышавшейся интонацией:

– Боже мой, сколько было работы, смотреть, чтоб уборных хватало вокруг, чтобы правильно выкопали канавы для отвода грязной воды. Боже мой, я вам говорю. Леди, – сказал он, – леди, выпейте со мной немного. Я бутылку бренди пришлю со своего стола.

– Торгуют только пивом, – заметил Нэбби Адамс.

– Боже мой, – сказал инчи Сидек. – Я в машину сажусь, нахожу три бутылки бренди на заднем сиденье. Не задаю вопросов. Три бутылки. Три звездочки. Это подарок, так что вопросов не задаю.

– Харам, – предупредил Краббе.

– Боже мой, – сказал инчи Сидек. – Кто знает, харам или не харам бренди пить? Я вам говорю, Пророк запретил то, что пьянит. Даже вода пьянит. Меня ничего не пьянит, поэтому для меня ничего не харам.

Из малайского *вайянга* донеслось «Ракун Ислам», весело пропетое хриплым женским голосом. Краббе с болью вспомнил Рахиму, свое предательство под исцарапанную пластинку в кабаре «Парадиз». Как она все это пережила?

К их столику, ухмыляясь сквозь окладистую кивавшую бороду, подходил крупный сикх. И уселся без приглашения, втиснув стул между Краббе и Фенеллой.

– Хари Сингх, – представил его Алладад-хан.

Хари Сингх пожал руку леди и джентльменам.

– Дурак чертов, вот он кто такой, – тихо сказал Нэбби Адамс.

Хари Сингх заговорил на ворчливом плохом монотонном английском. Алладад-хан ревниво слушал.

– Да, – сказал Краббе, ничего не понимая.

– Простите? – сказала Фенелла. Хари Сингх придвинул стул к ней поближе, заговорил прямо в глаза.

– Говорит, от всего сердца желает нам пива поставить, – перевел Нэбби Адамс. – Не стану лишать его этого удовольствия.

Хари Сингх пробурчал, что покажет им фокус. Снял массивное кольцо-печатку и закрутил его на столе. Предложил леди попробовать. Леди попробовала, потерпев неудачу. Хари Сингх по-мальчишески захохотал из гнезда бороды. Леди снова попробовала, и опять неудачно. Хари Сингх придвинулся ближе, закрутил кольцо с расплывчатым свистом. Нэбби Адамс зевнул. Алладад-хан ревниво сверкал глазами.

Фенелла вдруг ощутила, как ее обутую ногу поглаживает большая голая ступня. Изумилась, задвинула ногу под стул. Алладад-хан, заметив, взбесился от скрытого гнева. Чертов сикх, думал он. Аллах, он его достанет, достанет. Чертов сикх снова сунул ступню в кожаную сандалию.

– На самом деле вон туда надо пойти, – сказал Нэбби Адамс, глядя на огромное голливудское изображение Багдада: обширную, вульгарно залитую светом Истану. – Там игра идет. Тысячи долларов переходят из рук в руки. В основном китайцы. Деньгам все равно.

– Игра – это для дураков, – сказал Краббе.

– Правильно, – подтвердил Нэбби Адамс. – Если подумать. Вроде лошадей. В этой стране все скачки мошеннические. Жокеев и тренеры – куча старых ш-х. Я так в Клубе сказал, а мне говорят: «Знаешь, кто это вон

там, Берт Рагби, самый большой в стране тренер». А я говорю: «Ну, тогда он тоже старая ш-ха». – И откинулся на стуле без улыбки, не стыдясь своей чистой логики.

Алладад-хан произнес длинную страстную речь на урду. Нэбби Адамс внимательно слушал.

– Что он говорит? – спросил Краббе.

– Говорит, уйти надо отсюда, – перевел Нэбби Адамс, – еще куда-нибудь пойти.

– Бог свидетель, он прав, – сказал Краббе, видя то, чего почти ждал весь вечер. К столу шла Рахима с коричневым мальчиком на руках, готовая приветствовать и услышать приветствия. Она была одета в малайский костюм, торжественно шагала на высоких каблуках. Краббе знал, она любовно его поприветствует с широкой улыбкой, с нежными словами. Лицо Фенеллы загораживал тюрбан Хари Сингха, гадавшего ей теперь по ладони, низко склоняясь над рукой, часто ее поглаживая. Ну, пока не слишком поздно...

– Понял, – сказал Нэбби Адамс. Краббе, притворяясь не заметившим Рахиму, бросился в пивную палатку с деньгами за выпитое ими пиво. Алладад-хан быстро повел прочь Фенеллу, руками и губами принося извинения. Это всецело его вина. Каких только он не заслуживает проклятий? Соотечественник пенджабец; завтра перед этим шакалом развернется ад. Борода будет выдрана, а мстительный кулак сотрет с губ мыльную улыбку. Аллах, примерное наказание ждет вероломного сикха.

– В чем дело? – допытывалась Фенелла. – Что происходит?

– Говорит, тяжесть у него на сердце от поведения того чурбана, – перевел Нэбби Адамс. – Говорит, растолкует ему, что к чему.

На сей раз пришли в пивную палатку с навесами, ограждавшими от назойливых сикхов и от призраков старых романов. Еще пива. Алладад-хан почувствовал, что зеленеет. Аллах, сегодня он цвет меняет, как светофор. Но даже тут не обрели покоя: вскоре явился тощий бенгалец с базара, предложил хлебнуть виски из карманной фляжки, принялся с жаром рассказывать леди о новых тканях из экзотической Америки, только что поступивших на склад, дешево, очень дешево, если леди завтра зайдет посмотреть... Подсел писец писем, отдохавший от трудов изложения чужих горестей, жалоб, просьб на подержанном клацавшем «Оливере». Ему хотелось потолковать с леди о смысле жизни.

– Сестра, – говорил он, – сестра. В мире столько боли и горя, но Бог все видит, Бог позаботится о наказании грешника. Как мой тесть, например, только недавно меня обсчитавший на двадцать пять долларов.

История долгая, сестра, но у тебя лицо симпатичное, и ты мне посоветуешь, как лучше засадить коварного жулика за негостеприимную решетку.

– Ох, боже, – простонал Нэбби Адамс. – Глядите, кто тут.

Ухмыляясь безумными зубами, худой коричневый мужчина в дхоти приближался к столу. Он без церемоний двинулся прямо к бенгальцу с базара, ругая его на тщательном английском.

– Вот я тебя нашел, вор, сидишь, пыжишься в обществе высшего класса. Про деньги, которые по праву мои, разумеется, не рассказываешь леди и Джентльменам. Ну, не был бы ты таким богачом, как сейчас, если бы я не наскреб в пустых сумках остатки, чтобы помочь тому, кто казался мне другом. Другом! – И пьяно, презрительно, театрально расхохотался.

– Лучше внимания не обращать, – посоветовал Краббе бенгалец. – Если внимания не обращать, то он скоро уйдет.

– Нельзя на меня внимания не обращать. Весь мир узнает о моральном падении ложного друга.

– Я пьяницам не друг, – с насмешливым презрением объявил бенгалец.

– Сам ты пьяный ублюдок, – заплясал собеседник. – И вероломный ублюдок. И лживый. Как до тебя твой отец.

– Не говори так о моем отце.

– И мать тоже.

Бенгалец поднялся.

– Ох, Господи Иисусе, – сказал Нэбби Адамс. – Давайте-ка, быстро отсюда.

– И зять!

Последнее оскорбление. От нанесенного бенгальцем удара полетели стаканы, бутылки. Нэбби Адамс поспешно увел всю компанию.

– Платье! – взвизгнула Фенелла.

– Ничего. Быстро, вон туда, к танцорам. Полиция через минуту возьмется за дело.

Они смешались со зрителями, наблюдавшими за ронггенгом.

– Лучше на площадку поднимемся, – предложил Нэбби Адамс, – и потанцуем. Прикинемся, будто давно танцуем.

– Все? – спросил Краббе.

– Мы с вами. Он не годится. Описается с трех сторон.

– Но я не умею.

Фантастический мир в электрическом свете. Ждавшие своей очереди потанцевать малайцы любезно пропустили вперед белых мужчин. Краббе видел потные лица оркестрантов, щегольской сонгкок над саксофоном,

молодого хаджу, игравшего на барабанах. Видел в бреду, как огромный Нэбби Адамс, высокий, словно помятая башня, деревянно отступает и наступает, увлекает за собой и влечется за своей пигмейкой партнершей с невидимой «корзиночкой»<sup>[32]</sup> на шевелившихся в танце пальцах.

– Виктор! – кричала Фенелла. – Виктор! Иди сюда!

Но парализованный Краббе глазел, открыв рот, на вилявшую бедрами партнершу Нэбби Адамса. Красная копна волос, стильный саронг, веселое, брошенное Краббе приветствие:

– Табек, пгуан, – ловкие ноги на высоких каблуках, зад ходуном ходит. Это был Ибрагим.

– Виктор! Иди сюда сейчас же!

Вскоре, упавшие духом, побрели к машине, поехали домой. Вел Нэбби Адамс, с чрезмерной осторожностью, со старушечьей дотошностью:

– Чего этот мужик собирается делать? Собирается тут повернуть или прямо поедет? Хотелось бы мне, чтоб он сообразил. Эта женщина будет дорогу переходить или нет? – Но вскоре подогнал «абеляра» к освещенной веранде пансиона Лайт. Последовала пауза. Потом Нэбби Адамс сказал:

– Не возражаете, если я воды зайду попить? В горле пересохло.

Они поднялись. Нэбби Адамсу дали теплую бутылку пива «Тигр». Алладад-хан сидел в медитации, опустив голову на руки. Нэбби Адамс долго ворчливо говорил с ним на урду. Время от времени Алладад-хан давал стонущие ответы. Фенелла вдруг расплакалась, бросилась в спальню. Краббе пошел за ней.

– В чем дело, дорогая?

– Ох, ничего не получится, ничего не получится, – завывала она. – Стараешься с ними сблизиться, а они, а они, а они...

– Да, милая?

– ...пользуются. Потому просто, что я была там единственной белой женщиной. Они меня... они меня...

– Да, милая?

– ...за шлюху приняли или еще за кого-то. И начали драться, – рыдала она в потолок, затянутый паутиной.

– Ничего, дорогая. – Краббе держал в объятиях вспотевшее дрожавшее тело.

– Они так не обращались... с другими, – шмыгала она. – Всё мем, мем; да, мем, нет, мем...

– Это никакого значения не имеет, милая.

– Я поеду домой, – объявила Фенелла. – Я не вынесу. Они все плохие... плохие.

– Это мы потом обсудим, дорогая, – сказал Краббе. – Теперь просто вытри глаза и пойдя пожелай доброй ночи той парочке.

Виктор Краббе вернулся к гостям, а гостей больше не было. Так, по крайней мере, казалось. А потом он услышал с веранды пульсирующий довольный храп. В плантаторском кресле растянулся Нэбби Адамс, сильно превышая его размерами, заснул в мятой рубашке и мятых штанах. Слегка заворочался, во сне чуя чье-то присутствие, поднял кожаные веки, немного поговорил на урду. Потом открыл глаза шире, сказал:

– Всего пять минут, – снова закрыл, поудобней устроился и захрапел. Это была первая из многочисленных пятиминутных передышек, растянутых принципом относительности времени до зари или почти зари, которые он провел в этом доме. Из уборной слышались громкие позывы к рвоте, молитвы, стоны, покаяние.

– Он, – заметил во сне Нэбби Адамс. – Душу выблевывает.

Фенелла, вышедшая пожелать гостям доброй ночи, все увидела и услышала.

– Ох, какой ужас, – простонала она.

Нэбби Адамс забурчал и потребовал тишины на сонном урду.

– Ужас, – рыдала она. – Все время пользуются. Уезжаю со следующим пароходом.

– Ничего, дорогая, – сказал Краббе.

Алладад-хан все слышал в уборной; сердце его разрывалось от слез страдающей красоты. Но он сейчас ничего не мог сделать, ничего. Уткнулся потным лбом в холодный кафель степы. Чтобы он, Хан, вот так вот себя вел, опозорил свое имя, расу. А ведь ему хотелось, чтобы нынче вечером было совсем по-другому. Смех, любезность, внимание, немного выпивки. Немного выпивки. Он в агонии выблевывал душу.



Кто это так весело шатается по рынку, как не Ибрагим? Он, в шуршащем шелку, кудряшки удержаны на месте заколками, помахивая корзинкой, крепко зажав в кулаке две измятые бумажки по доллару, идет поутру за покупками.

Рынок крытый, темный, душный. Ибрагим вынужден был деликатно морщиться в вонючих проходах между рядами ветхих прилавков. Старухи горбились над мешками сиамского риса, грудями красного и зеленого перца, лиловыми баклажанами, колючим нефелиумом, ананасами, дурианом. Мухи жужжали над рыбой, в тухлых мясных костях, отложенных для кошек. Там и сям старики спали на своих прилавках рядом с ошипанными курами и сушеной рыбой. Один торговец использовал вместо подушки полный таз яблок-паданцев. Тощий пузатый китаец сбрасывал сигаретный пепел на овечьи туши, на тугие белые капустные кочаны. В воздухе сплошной запах – кэрри, дуриан, рыба, мясо, – резкий визгливый спорящий шум. Ибрагим любил рынок.

Он весело и провокационно приветствовал друзей, звонко спорил о ценах на золотые бананы, на рожки-бананы; купил чили, половинку кокосового ореха для кэрри. Призадумался, не купить ли, слегка озадачив туана, пару черепаших яиц или синюю птицу в клетке, а может, игрушечный ксилофон. Ибрагим любил делать небольшие подарки. Больше того, считал лишь справедливым, чтоб к туану вернулось немножечко денег, которые он, Ибрагим, регулярно таскал у туана из брюк или из ящика письменного стола. Отец ему однажды сказал: ни один добрый слуга-малаец не крадет у хозяина. Ну, ведь это не настоящее воровство; все идет на покупки для дома маленьких необходимых вещей – пластмассовых лошадок, восковых фруктов, бумажных цветов, выводка утят, ручной кошки-циветты, желтых, производимых в Гонконге духов. Он, Ибрагим, заслуживает небольшие комиссионные, покупая все это дешевле, чем его хозяин с хозяйкой. Вдобавок он, Ибрагим, часто таскает всякие вещи вниз, на школьной кухне. Рис, кэрри в порошке, консервированный виноград не стоили хозяину за последний месяц ни пенни. Так или иначе, деньги из кармана или из стола туана в действительности представляли собой скромную сексуальную оргию, были актом мести за то, что туан женат и имеет любовницу, не реагируя на его, Ибрагима бен Мохаммед Салеха, среднеполые прелести.

Ибрагим бен Мохаммед Салех решил сейчас выпить бутылочку апельсинового сока «Фрейзер энд Нивс» в питейном заведении под открытым небом у рынка. Он с удовольствием наблюдал, как продавцы еды подбрасывают, переворачивают жарившиеся в куали ми над примитивными угольными жаровнями. У него, у Ибрагима, электрическая плита, сверкающие алюминиевые кастрюли, гудящий целый день холодильник. У него также сотня долларов в месяц плюс заработанное на стороне. Он очень хорошо устроился.

Солнце внезапно окутала черная туча, апельсиновый сок перестал блистать золотом. Ибрагим, глядя на крутящиеся в куали ми, вспомнил вдруг свою жену. Вспыхнул, вспомнив желание своей матери сделать как лучше, веря, будто он после этого остепенится – остепенится! А ему тогда было всего семнадцать лет! Будто это наставит его на истинный путь мужчины-малайца. Брак, естественно, был неудачным. Ибрагим плакал, отказываясь от ритуалов брачной ночи. Фатима, крупная, с тяжелыми бровями, бросила ему слово «нусус», сильнейшее исламское выражение, означающее позор; как правило, применимое только к женщине, отказавшейся от сожителства. Ибрагим бежал из материнского дома, нашел себе место в офицерской столовой Малайского полка. Фатима его выследила, попыталась ударить куали в столовой на кухне. Ибрагим завизжал. Позже ему, укрывшемуся на месте повара в доме туана Краббе, снова довелось быть обнаруженным. Он упрашивал, молил, заклинал ее вернуться к своей родне в Джохор, обещал заплатить за проезд, выплачивать содержание. Нередко в вечернюю вахту, обратившись в сторону Мекки, приносил прошение Божеству:

Аллах, милосердный Аллах,  
Пожалуйста, пусть жена моя вернется в Джохор.

Но Аллах не уступал. Позволил Фатиме бегать за ним с кривым ножом, выкрикивая обвинения, в очереди в кино, где стоял Ибрагим, держась за руки с другом-солдатом. Только когда Ибрагим был на грани полного отчаяния, готовый впасть в амок, – что было бы жалко, ибо он искренне не хотел никого убивать, особенно туана Краббе, – только тогда она согласилась уехать в Джохор на короткое время, повидать родителей, поведать им о своих бедах. Но обещала вернуться. И непременно вернется.

Ибрагим на минуту закрыл глаза и взмолился:

«Аллах, нашли на нее страшную болезнь, устрой железнодорожную

катастрофу, разреши коммунистам убить ее. Только, пожалуйста, пожалуйста, не позволяй возвращаться».

А открыв глаза, бешено выпучил их, пролил чуточку апельсинового сока, ибо перед ним стояла Женщина. Аллах, он на мгновение подумал, будто это она, Фатима. Но нет; это была любовница туана Краббе, державшая на руках мальчика, сосавшего тонкий палец.

– Бог с тобой.

– С тобой Бог.

– Можешь мне немного помочь, – сказала она и села, посадив ребенка на колени.

– Как? Чем помочь?

– Твой хозяин меня бросил.

– О. – Ибрагим положил ногу на ногу, пожал плечами, вздернул голову не выражавшим сочувствия жестом.

– Я утратила его любовь.

– Но в таком случае я тебе помочь не смогу, даже если захочу.

– У меня есть, – сказала Рахима, открыв сумочку, – одна вещь, которая возвращает любовь. – И сунула пузырек Ибрагиму. – Я получила его у паванга чи Мата в Келапе. Сильное снадобье, чтобы снова приворожить к сердцу мужчину.

– Я о таких вещах слышал, – индифферентно признал Ибрагим.

– Его можно вылить в питье, вкус которого не изменится. Прошу тебя вылить в питье хозяину. Я за помощь немного тебе заплачу.

– Но откуда мне знать, что оно его не убьет?

– Я даю тебе слово и заверенье паванга. Паванг очень искусный, а снадобье, говорят, помогает всегда.

– Сколько ты мне дашь?

– Пять долларов.

– Мало.

– Аллах, за два пятьдесят можно нанять человека, который топором зарубит и ножом зарежет. Пять долларов хватит, – нет, даже много, – за такую маленькую помощь.

Ибрагим повертел в руках пузырек.

– А если узнают и выгонят с места?

– Никто не узнает.

Ибрагим немного подумал, потягивая апельсиновый сок. На базаре есть очень хорошая материя для саронга, два доллара хела.

– Десять долларов, – сказал он.

– Шесть.

– Восемь.

– *Байкла.* – Она дала ему пятидолларовую бумажку, две по доллару и горсть мелочи. – Попотеешь ради такого дела?

– Я никогда не потею.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Она пожала ему руку, ушла. Ибрагим смотрел на маленькие колыхавшиеся ягодицы, смотрел на прильнувшего к ней ребенка, сосавшего палец. Женщины, думал он. Вцепятся в мужчину, как лиана, как пиявка в джунглях. До чего он ненавидит женщин. Снова взглянул на пузырек, вытащил пробку, понюхал тягучую жидкость. Запаха не было. Ну, он пообещал, однако исполнение обещания можно и отложить. Спешить нечего. Не нравятся ему подобные вещи. Минуту думал о вещах, которые сделала магия в этом самом городе. Ревнивая любовница кронпринца сделала так, что у его второй жены выпали волосы; тамил из городского совета умер от лихорадки, которую наслала его проткнутая фигурка, за несправедливое увольнение клерка-малайца; бесчисленные жены воскресили в мужьях умиравшую страсть; мужья возвращали любовь своих жен...

Аллах! Ибрагим сморщился, начал немного потеть. А что, если она... Нет, Фатима не станет... Но может... *Аллах таала*, может. Нет, нет, нет. Аллах Всевышний! Вполне возможно. Может, даже сейчас, в Джохоре, где, как хорошо известно, есть могущественные паванги, что-то задумывает, чтоб вернуть его сердце, чтобы он захотел совершить ту самую ужасную непристойную вещь... И еще. Он сглотнул пересохшим ртом, несколько трепеща. Может быть, она тоже желает мести, видя в нем оскорбителя своей женственности, отвергшего ее авансы. Может, тычет сейчас булавки в его, Ибрагима бен Мохаммед Салеха, восковую фигурку. Лаилах-илл'алах!

Ибрагим бросил смертоносный пузырек в корзину для покупок, где он угнездился среди красных перцев и кокосового ореха. Нынче вечером надо будет пойти к небольшому святилищу у помещений для слуг, возложить бананы, зажечь свечи. Это место посещают добрые духи; влюбленная пара, которая давным-давно там прогуливалась, была вознесена на небеса, подобно самому Пророку. Они безусловно помогут безгрешной душе. Поскуливая про себя, Ибрагим вернулся в пансион Лайт, чтобы приступить к приготовлению ленча для мем и туана.

Ленч готовила и Фатима, но не Фатима бинт Разак, жена Ибрагима бен Мохаммед Салеха, а Фатима-биби, жена Алладад-хана, капрала

транспортной полиции. Она вернулась неделю назад, обнаружив, как и ожидала, грязную квартиру в полицейских казармах, – пол усыпан окурками, во всех углах деловитые пауки, простыни, которые неделями не бывали у дхоби. И отругала мужа, пока, деловито размахивая метлой, восстанавливала порядок и чистоту в крошечной квартирке. Чем это он занимался, хотелось бы знать, пока она стояла на пороге смерти, производя на свет его дитя. Его дитя, да, плод назойливых домогательств. Без сомнения, шлялся по городу, выпивал с друзьями-безбожниками, может быть, даже тайком ел свинину, богопротивный бекон. Пусть не думает, она его знает. А он, сводя ее с ума, лениво отвечал по-малайски:

– *Tida'ana.*

Фатима-биби оставила кэрри кипеть на топившейся углем плите. Чапатти готовить еще не пора. Направилась к колыбельке, стоявшей в их спальне, улыбнулась над плодом его, Алладад-хана, назойливых домогательств. Маленькая Хадиджа-биби лежала в младенческом, напитанном молоком блаженстве. Фатима-биби нахмурилась, вспомнив, как муж, когда она впервые в его присутствии кормила ребенка, сказал, что она ему напоминает вторую суру Корана. Сперва она улыбнулась, подумав, будто он видит в ней нечто от святости мусульманского материнства. А потом вспомнила название второй суры – «Аль Бакара»: «Корова». Крупное лицо покраснело, начиная с носа, длинная линия и раздутые ноздри которого приняли выражение, не сулившее ему, Алладад-хану, ничего хорошего. Слава Аллаху, женщин Пенджаба не растили в традиционной покорности, в отличие от их сестер в Малайе и арабских землях. Алладад-хана надо поставить к ноге. Выдаваемые ему на расходы деньги строго ограничить, равно как и наслаждения, получаемые от нее в постели. Лишить того, одарить тем: вот где власть женщины. Опять же всегда можно сослаться на свой образец, на брата. Он отлично преуспел, говорит по-английски, у него командирская внешность и воля к победе. Она не поверила Алладад-хану, сказавшему, будто Абдул-хан был однажды доставлен домой пьяным после вечеринки в Сунгай-Каджаре. Не поверила также рассказам о его любовной интрижке с девушкой-англичанкой, когда брат был в полицейском колледже. Абдул-хан всегда поступал правильно, держал себя в чистоте, пока не встретит девушку, обладающую теми качествами, которые он чтит в сестре. Естественно, девушку из хорошего мусульманского клана, со скромной красотой, хорошую хозяйку, бережливую, покорную, умную.

Хадиджа-биби закричала, заколотила крошечными кулачками, забрыкала коричневыми, опоясанными жирком ножками. Фатима-биби

подхватила ребенка, утешила по-пенджабски, по-пенджабски заворковала, прижала к сильному телу, к большим грудям коричневую малютку, которую родила для него, Алладад-хана.

Который теперь вошел и сказал:

– Видно, этот ребенок точно как мать, вечно жалуется.

Фатима-биби обернулась к нему, но, вдруг почувствовав себя виноватой, вспомнила, что чапатти еще не готовы.

– На, понянци ребенка. Надо было предупредить, что ты к полднику рано вернешься. Еще не все готово.

– Вернулся не раньше, – сказал Алладад-хан, – не позже обычного. Мне небеса не позволят настолько забыться, чтобы рано домой прийти.

– Возьми, да не урони. Ну, – сказала Фатима-биби, протягивая коричневую драгоценную ношу, – кто так держит ребенка. Не видно в тебе к ней любви. Обращаешься, как с карбюратором.

– Карбюратор полезная вещь. Без него машина не пойдет.

– Да накажет тебя Бог за такие слова, – сказала Фатима-биби, уходя на кухню.

Алладад-хан, оставшись один, неумело покачал дитя в неотцовских руках. Хотел разглядить ус пальцем, но не удалось. Аллах, теперь две женщины в доме, обе, подобно всем женщинам, готовы командовать до последней капли крови. Дитя громко кричало, и Алладад-хан тихо сказал:

– Чертова лгунья. Ублюдок.

Нет, впрочем, последнее слово нельзя было использовать в данном контексте. Он узнал его смысл, нашел в словарице Хари Сингха. Лицо Алладад-хана помрачнело. Пока не наказан, пока не раскаялся. Две недели прошло после того непростительного, грязного, похотливого деяния Хари Сингха. Но как ему, Алладад-хану, прямо взяться за дело? Ибо нельзя намекать подчиненным на глубокую личную заинтересованность в этическом вопросе. Он сказал Хари Сингху:

– Не подобает тебе так вести себя с белой женщиной.

А тот ответил:

– Не будем лицемерить, капрал. Ты то же самое сделал бы, если бы был посмелей. Разве они не такие же женщины, как остальные, даже, как кино нам показывает, отличаются большей отзывчивостью; если па то пошло, гораздо больше женщины, чем наши женщины. Она точно не возражала.

– Потому что она леди, и не стала бы, как это принято у англичан, выражать свои чувства публично. Но мне выразила стыд и ужас. Плакала.

– Плакала? При тебе? Это свидетельство определенной близости.

– Она была вне себя, не могла больше сдерживать слезы. Ей совсем стыдно стало.

– Пора поплакать белым мужчинам и белым женщинам. Бог свидетель, их можно обвинить во многих злодеяниях, сделанных в нашей стране от имени британских раджей. Индия даже теперь не свободна, сикхи по крайней мере. У тебя есть Пакистан, почему у нас нет Сикхистана? – И прочее.

Алладад-хан был резок в официальных контактах с Хари Сингхом, и Хари Сингх, как сообщали Алладад-хану, жаловался на несправедливость и тиранию. Алладад-хану был сделан мягкий выговор. Все очень сложно. Но, Аллах, придет время.

– Что ты делаешь с бедным ребенком, который так плачет? – с упреком крикнула с кухни его жена. Действительно, рев и вой не прекращался, скорее усиливался. Алладад-хан сообразил почему: он стискивал тельце младенца, словно шею Хари Сингха.

– Тише, – равнодушно сказал Алладад-хан и затряс ребенка, как шейкер для коктейлей. Вскоре дитя посреди лягушачьего крика решило перестать дышать. Алладад-хан испугался, бросился на кухню. Жена приняла драгоценную, драгоценную крошку, та вдохнула полпинты воздуха и опять завопила.

– Детка моя, сокровище, драгоценная. Ох, какой у тебя жестокий отец, моя сладость. – Детка согласно взывала.

– *Тида'ана*, – сказал Алладад-хан и стал разглаживать усы.

Дитя успокоилось, было снова уложено в колыбель, супруги вдвоем сели полдничать. У Алладад-хана почти не было аппетита. Он покорно разломил чапатти, обмакнул в довольно-таки водянистое кэрри. После угощения у Краббе возмечтал о более экзотических блюдах. Одно называлось ширское могу,<sup>[33]</sup> или как-то похоже. Восхитительное, полное мяса, богатое подливкой. Ни риса, ни чапатти.

– Почему, – сказал он жене, – мы всегда должны, каждый день, есть одно и то же? В полдень хлеб, на ночь рис. Всегда одинаково. Никакого разнообразия, никаких сюрпризов.

Она едко ответила, запачкав рот соусом кэрри:

– Ты, наверно, вошел во вкус к свинине, пока меня не было. Наверно, не успокоишься, пока не получишь на полдник рубленую свинину и стакан пива, а на ужин кусок жареного бекона и бутылку виски. Прости тебя Бог. Страшно подумать, какой пример подашь детям.

Он сказал ровным топом:

– В предложенном тобой меню разнообразия нет, но, пожалуй, оно

чутьточку интереснее вечного кэрри с рисом, кэрри с чапатти, питаться которыми я, видно, приговорен.

Поскольку она ела руками, стукнуть по столу было нечем. Но встала, страшная в гневе, яростно на него обрушилась:

– Ты себя совсем плохо вел, пока меня не было, но теперь, Аллах свидетель, больше похож на нечистого духа, чем на мужчину. Сделал жизнь мою адом. Любишь только себя, никаких отцовских чувств, никаких супружеских достоинств, кроме нечестивой похоти, доставившей мне больше страданий, чем я могу описать, страданий при рождении твоего ребенка, которого ты не желаешь любить и которого, кажется, даже пытался убить. Я была душой, пойдя за тебя.

– У тебя выбора не было. У меня тоже. Братец решил сбыть тебя с рук, выдав за первого попавшего Хана. Ты себя душой тогда не считала. – Алладад-хан дрожащей рукой указал на свадебную фотографию – крупный нос, улыбающиеся зубы, рука, положенная на колено робкого новобрачного. – Тогда не считала меня дьяволом из преисподней. Аллах знает, я не хотел лишаться свободы. Меня принудили жениться, сказали, я предаю свой клан, оставаясь холостяком, когда ты пыхтишь, хочешь мужа. А если бы я на тебе не женился, если бы обождал...

Младенец снова заплакал. Алладад-хан мрачно уставился на остывшее кэрри, на разломанные куски чапатти, пока жена бросилась в спальню, выкрикивая утешительные слова.

*Тида'ана.* Нет, больше так не пойдет. Он страстно ждал вечера, страстно хотел побыть с Виктором Краббе и Фенеллой Краббе. Странно, не просто с ней – с ними обоими. Теперь начинал понимать определенные вещи, которые, как он надеялся, в свое время сами собой прояснятся, причем почему-то с их помощью.

Алладад-хан взял себя в руки, встряхнулся, закрутил усы. Схватил со стула берет, застегнул ремень. Потом пошел к полицейской столовой, где просидел полчаса над чашкой кофе и книжечкой Хари Сингха. Тихонько произносил про себя:

– Это мужчина. Это большой мужчина. Это мужчина? Да, это мужчина. Это большой мужчина?...

Среди игроков в бильярд и в кости, глухой к разговорам и к дребезгу чашек, он, Алладад-хан, изучая английский, сидел в одиночестве, гордый, индифферентный, непонятый, страстно ждавший вечера.



Нэбби Адамс ни в коем случае не был скупым по натуре; для щедрости у него не было средств. Пока со временем он все больше и больше пользовался гостеприимством четы Краббе, его начало мучить чувство вины. Выпитый джин, бутылки пива, время от времени оживляющий бренди, съеденные обеды, посещение кинотеатров, использованный бензин, все за счет Виктора Краббе, начинали требовать – пусть давно испарившись, забывшись, переварившись, – расплаты более существенной, чем простая благодарность.

«Большое спасибо. Вы поистине хорошо о нас с ним заботитесь».

«Вы мне жизнь спасли, правда. Я уже трястись перестал. Можно, пожалуй, в контору вернуться».

«Знаете, единственное, чего мне бы хотелось в смысле еды: немножко горгонцолы, [\[34\]](#) луковицу и пару пива».

«Я по-настоящему хорошо тут поспал, миссис Краббе. Странно, всегда могу спать в вашем доме, в любое время дня и ночи. В столовой без конца кручусь и верчусь».

«Я прямо высох весь за день, Виктор. Ничего не мог делать, все думал про это».

Нет, подобных выражений благодарности недостаточно. Пора ему что-нибудь сделать для супругов Краббе. Раз-другой он приносил бутылку самсу, или Алладад-хан покупал бутылочку джина; дары проносились сквозь орды маленьких школьников, с интересом глазевших, в квартиру вверх по лестнице. Но долги росли, Алладад-хану становилось все трудней и трудней добывать из копилки деньги, хотя жена его верила, будто ключ потерялся. В часы покоя ворочалась, просыпалась, спрашивала обнаженную фигуру, украдкой возившуюся под кроватью:

– Что ты делаешь, беспокоишь шумом меня и ребенка?

– Сон приснился, будто кто-то пытается украсть копилку с деньгами. Слава Аллаху, она еще тут.

Нет, надо было достать где-то денег, к тому же законно. Одна из обязанностей Нэбби Адамса заключалась в осмотре транспортных средств – военных, полицейских, частных, все едино, – участников дорожных происшествий, с целью сбора вещественных свидетельств о технических неисправностях или полной исправности, которые можно будет представить в суде. Автовладельцы-китайцы деликатно намекали, что если

бы лейтенант полиции заявил, будто тормоза были в полном порядке, то вскоре обнаружил бы появление нового друга, истинного друга, настоящего друга. Тормоза нередко оказывались в порядке, так Нэбби Адамс и говорил. Потом ему предлагали – «Вы курите, лейтенант?» – сигаретную жестянку, набитую десятидолларовыми бумажками, и Нэбби Адамсу приходилось со стоном отказываться. Или, деликатнее, дьяволически: «С радостью открою вам счет, лейтенант, в любом питейном заведении, какое укажете». Ох, искушение, искушение. Но чертовски рискованно. А теперь разнообразные кредиторы толковали о готовности принимать платежи полицейским бензином. Нэбби Адамс чуть не пал, но шесть футов восемь дюймов честности воспарили к небесам в самое время. Ох, страдания, крестные муки.

Как законно раздобыть денег? Однажды Нэбби Адамс настоял, чтоб все вместе отправились в Тимах на скачки. Он получил несколько верных подсказок от благодарного автовладельца-китайца. И поехали вчетвером, позаимствовав членские карточки Скакового клуба в Ланчапе, сидели в нараставшей надежде, в спазмах отчаяния, в перисистолах сомнений. И все распроклятые лошади вылетели в трубу, кроме тех, на кого ставили сидевшие рядом на шаткой трибуне китайцы. Нэбби Адамс на ворчливом урду жарко ругал их, квакавших и щебетавших в победной радости, пока Алладад-хан не вынужден был сказать:

– *Ап хуч караб болта.*

– Еще хуже скажу, будь я проклят, если эти задницы не заткнутся.

Чтоб усугубить несчастье, по-настоящему проиграл только Краббе, ибо ни у Алладад-хана, ни у Нэбби Адамса не нашлось пяти долларов – минимальная ставка – на двоих. После унылого дня, выброшенных на помойку денег, надо было пойти куда-нибудь выпить, и тут миссис Краббе набросилась на Виктора Краббе:

– Ты же знаешь, у нас нет таких денег. Тратишь на пиво, на лошадей, а потом... Ох, ужас, ужас. – Потом трое мужчин в мрачном молчанье сидели за пивом, пока она сморкалась в крошечный носовой платок. – Ужас. Уезжаю домой следующим пароходом.

– Ну, тогда поезжай.

– Да, уеду, уеду.

Нэбби Адамс себя чувствовал ужасно виноватым, все это его ошибки.

Он приобрел билет ежемесячной лотереи без реальной надежды хоть что-нибудь выиграть. Первый приз – 350 000 долларов – был просто сказкой, в которую как бы можно поверить, подобно историям в Библии насчет возраста Мафусаила и прочее, хотя глубоко знаешь, что это на

самом деле неправда, не может быть правдой.

В отчаянии он едва не задумался о женитьбе. Была в городе старуха малайка, страстно хотевшая замуж, веря, будто старых дев на Небеса не пускают. У нее была припрятана добрая сумма. Это означало, что Нэбби Адамсу придется принять мусульманскую веру, но какая разница. Пить все равно можно было бы, подобно Алладад-хану, чертовски дурному образчику веры. Однако Нэбби Адамс гораздо легче представлял себя в тюрбане хаджи, отводящего шокированный взгляд от бутылок «Тигра» и самсу, чем женатым мужчиной. Все очень сложно.

И все-таки Нэбби Адамс продолжал пользоваться гостеприимством супругов Краббе. Начинало формироваться фантастическое братство. Когда у кого-то оказывалось немного денег, выпивали в каком-нибудь маленьком кедае. Сидели за «Тигром», за «Якорем» или за «Карлсбергом», летучие муравьи бились о голую электрическую лампочку, москиты пили крошечными глотками кровь миссис Краббе. Вокруг сидели глазевшие местные, изумляясь с никогда не уменьшавшимся изумлением, попивая кофе с патокой, тепловатую минеральную воду, странному спектаклю, который разыгрывали огромный ворчливый мужчина с желтушным лицом, аккуратный пенджабец с образцовыми усами, бледный школьный учитель и женщина-кинозвезда с медовой кожей и золотистыми волосами. Постоянно звучали три языка, спотыкались, рокотали, тянулись. На всех подобных заседаниях Нэбби Адамс говорил только на урду и по-английски, Алладад-хан только на урду и по-малайски, чета Краббе только по-английски и чуть-чуть по-малайски. «Что вы сейчас сказали?» «Что он сказал?» «Что все это значит?»

Вопросы Алладад-хану задавали через Нэбби Адамса. Алладад-хан экспрессивно вскидывался, глаза сверкали и таяли, плечи приподнимались, честные губы произносили длинный ответ. Потом Нэбби Адамс переводил:

– Говорит, что не знает.

Иногда шли в кино и, терзаемые насекомыми, смотрели длинный индийский фильм про Багдад, про волшебных коней, которые разговаривали и летали, про джиннов в бутылках; фильм, где играли мечами и разлучали влюбленных. Алладад-хан переводил с хинди на малайский, а Нэбби Адамс, прежде чем заснуть, забывался и с хинди переводил на урду. Или смотрели американский фильм, и Фенелла Краббе переводила с американского на малайский, а Нэбби Адамс, прежде чем заснуть, переводил на урду то, что из всего этого понял.

Часто по вечерам возвращались в квартиру, Нэбби Адамс тогда говорил: «Всего пять минут», – и спал до рассвета в плантаторском кресле.

Сам Краббе, зная, что завтра рано утром на работу, ложился в постель, оставляя Алладад-хана с Фенеллой одних. Странно, но у Алладад-хана больше не было желания завоевать сердце леди. Они сидели вдвоем на веранде, непрерывно беседуя на ломаном малайском, на ломаном английском, и Алладад-хан начинал наконец понимать, какие взаимоотношения ему требуются.

Все было довольно сложно. Он, одинокий, искал других одиноких. Оставался единственным Ханом на множество окружающих штатов, приехавшим сюда изгнанником, живущим среди чужих рас. Жена его малайка, родилась в Пинанге; Абдул-хан повидал Англию, Францию, но никогда не был в Пенджабе. Алладад-хан видел в Фенелле Краббе другую изгнанницу, отрезанную от родной страны, отрезанную от общества белых, – одинокая, она ходила по потной жаре, пока высокомерные автомобили государственных служащих везли томных жен в Клуб и в тимахские магазины. Что-то выкристаллизовывалось в сознании Алладад-хана, и пришла пора, запинаясь, сбросить бремя, хотя языковые рычаги и лебедки поскрипывали и стопорились. Она, Фенелла Краббе, мягко сняла с него ношу, спросив, вытянув.

– Почему вы пошли в армию в тринадцать лет?

– Из дома убежал.

– Почему?

– Это мать виновата. Настаивала, чтоб я женился на той самой девушке, а я жениться на ней не хотел.

– Но ведь, безусловно, в тринадцать лет рано жениться?

– Меня сговорили с первых дней жизни, может, еще до рождения. Две семьи должны были связаться браком. Когда я был маленьким мальчиком, меня заставляли играть с этой девочкой, хотя я ее ненавидел. Всегда считалось, что мы должны пожениться, но я скорее бы умер, чем на ней женился. Даже теперь могу утверждать.

– Вообще не хотели жениться?

– Что можно сказать в таком возрасте? Только была другая девочка, которую я, казалось, любил, а теперь, когда уже слишком поздно, уверен, что любил. Мы в школе вместе учились и, даже когда нам было всего по двенадцать, встречались, и я ей дарил небольшие подарки. А однажды пошел и открыл свое сердце одной своей тетке, думал, можно ей доверять. А она все моей матери рассказала. Как-то пришел из школы, разбросал по привычке книжки по всем четырем углам гостиной, ничего не подозревал. Мать набросилась на меня с упреками, навсегда запретила встречаться с той другой девочкой. Тогда я, в чем был, ушел из дома, пошел на

призывной пункт, неправильно назвал возраст. И стал солдатом.

– А девочка, которую любили?

– Сказала, будет ждать, если придется, всегда. Я писал письма, она отвечала. Мы собирались жениться. Потом пришло письмо от моей матери, там было сказано, она вышла за кого-то другого, обо мне ничего больше слышать не хочет. И правда, писем от нее больше не было. Потому что, как я позже узнал, ей точно то же сказали. И вот я тут, в Малайе, женился. Через месяц после женитьбы получил от брата письмо, он мне все рассказал, и письмо от любимой прислал. Но было уже слишком поздно. Мы, пенджабцы, не разводимся, в отличие от других мусульман. Когда берем жену, с ней остаемся, помня свой долг. – И Алладад-хан заплакал. Фенелла, потрясенная и поглощенная жалостью, обняла его, утешая. Тем временем Нэбби Адамс, распростертый в плантаторском кресле, храпел. Только эти звуки в тихой малайской ночи: рыдания, неадекватные утешительные слова, мягкий храп большого пропащего мужчины.

Фенелла Краббе реже теперь заговаривала о возвращении в Англию следующим пароходом. У нее появились обязанности. Алладад-хан открыл ей душу; огромный, лишенный матери, пропащий Нэбби Адамс нуждался в помощи и, поскольку Фенелла была женщиной, в исправлении.

Нэбби Адамс привлекал ее и с другой стороны – с книжной. Он ее восхищал, он казался ходячим мифом: Прометей, терзаемый орлами – долгами и спиртным, – выклевывающими его печень; сам Адам, сбитый с толку, без Евы, изгнанный из Райского сада; Минотавр, жалобно мычавший в лабиринте денежных неурядиц. Она ценила каждое привычное для него выражение, каждый серьезный анекдот из ранних периодов жизни; даже подумывала составить из его изречений сборник афоризмов.

«Я тут не слишком-то часто моюсь, чертовски здорово сполоснулся на пароходе по пути сюда».

«Я хочу сказать, когда идешь тут с какой-нибудь шлюхой, через несколько дней хорошенько себя осмотри, правда, миссис Краббе?»

«Я, как и вы, миссис Краббе, не ангел. Только много вопросов не задаю. Как и вы. Два десятка бутылочек «Тигра» в день, и вполне счастлив. Как, наверно, и вы, миссис Краббе».

«Просто кусок старой ш-хи. Я хочу сказать, чем еще его можно назвать, миссис Краббе? Иначе никак и не скажешь, правда?»

«Спорю, вам до смерти хочется, миссис Краббе». (Первая похмельная выпивка на следующее утро.)

А рассказы о временах, когда он был помощником владельца похоронного бюро. «Ну, понимаете, у одного был парик. А я никак не мог

его натянуть на голову, когда в саван одел. Кричу наверх: «Мистер Протеро, чуточки клея у вас не найдется?» А потом говорю, ладно, обойдусь парой кнопок». А другие истории про Нэбби Адамса на нортгемптонской обувной фабрике, и про Нэбби Адамса, клерка в букмекерской конторе, и про Нэбби Адамса в Индии.

Но что такое Нэбби Адамс? Она не могла поверить, что его на самом деле зовут Авель. А происхождение Нэбби Адамса. У него действительно мать была индианка или отец евразиец? Эти персонажи фигурировали в его рассказах наряду с просоленными нортгемптонскими деревушками. Отец был могильщиком, мать отлично пекла печенье, готовила ветчину. В сердцевине Нэбби Адамса крылась тайна, которая никогда не откроется.

– Я человек не церковный, миссис Краббе, но люблю хорошие псал.

– Чего?

– Псал.

Фенелла Краббе подвергала Нэбби Адамса разнообразным экспериментам. Проигрывала на пластинках Баха, и он сказал:

– Очень умно, миссис Краббе. Одновременно слышишь пять разных мелодий.

Прочитала ему и Алладад-хану целиком «Бесплодную землю» мистера Элиота, и Нэбби Адамс сказал:

– Тут он ошибается насчет карточной колоды, миссис Краббе. Нету такой карты, которая называлась бы Мужчина, несущий Три Посоха. Он имеет в виду просто обыкновенную тройку, к примеру трефовую.

А когда подошли к темному громоподобному финалу поэмы, Алладад-хан серьезно кивнул.

Datta. Daydhvam. Damyata.<sup>[35]</sup>

Shantih shantih shantih.<sup>[36]</sup>

– Он говорит, этот кусок понял, миссис Краббе. Говорит, это гром.

Неистоцимо. Фенелла часто ругалась, кричала, безжалостно выгоняла Нэбби Адамса. Один раз, например, он рано поднялся, незаметно подкрался к буфету и прикончил до завтрака целую бутылку джина. Или упал с лестницы на глазах у ошеломленных мальчиков из пансиона Лайт и сказал:

– Так уж вышло, миссис Краббе. Должно быть, заснул, обо что-то споткнулся. Не могу в таком виде в контору идти.

Но не было никого ему подобного. Фенелла Краббе позабыла про Общество любителей кино в Тимахе и никогда не увидела «Кабинет доктора Калигари», «Метрополис», «Вечерние гости» и «Кровь поэта».

*Tuðana.*

– Настояла, что тоже поедет, – сказал Нэбби Адамс. – Ничего с ней не сделаешь, будет вопить на весь дом. А к тому времени, как мы с ним раза три-четыре выкинули ее из машины, подумали, что вполне может поехать. Хотя, – сказал Нэбби Адамс, – я готов согласиться, немножко воняет. Надеюсь, вы не возражаете, миссис Краббе. Месяца два не мылась. У меня возможности не было.

– Не споласкивалась хорошенько на пароходе по дороге сюда? – спросил Краббе.

– Ох, она ж со мной не ехала, – серьезно объяснил Нэбби Адамс. – Вообще собака не моя. Принадлежала тому самому типу, что был до меня. Понимаете, мне досталась, когда я его комнату занял.

– Симпатичная собака, – сказала Фенелла, поглаживая сильно свалывшуюся черную шерсть. – Как вы ее называете?

– Ее зовут Мошна, – виновато сказал Нэбби Адамс. – Она только на это и откликается. Наверно, тот самый тип ей все время под ногами велел не болтаться, или еще что-нибудь.

– Я не совсем понимаю, – сказала Фенелла. Краббе быстрым шепотом объяснил. Она покраснела и поняла.

– Теперь надо нам поторапливаться, – сказал Нэбби Адамс, – если собираемся сегодня вернуться. – И заговорил на урду с Алладад-ханом, сидевшим за рулем в берете и форме. Ал-ладад-хан вытащил из закровов револьвер. – Ачча, – сказал Нэбби Адамс. – В любом случае, есть.

– Дорога плохая? – спросила Фенелла.

– Участок плохой, – пояснил Нэбби Адамс. – Миль девять. Хотя не хочу вас пугать, миссис Краббе. – Нэбби Адамс сел с Краббе на заднем сиденье. Собака прыгнула на пего, облизала, обнюхала, наконец, успокоилась, удовлетворенно ворча, у него на коленях. – По-моему, чему быть, того не миновать. Сегодня пулю в живот не получишь, так завтра получишь. – Фенелла села рядом с Алладад-хапом.

Была пятница, мусульманская суббота, нерабочий день в школе. Они ехали в Джилу, в городок на границе штата, где Нэбби Адамсу предстояла инспекция транспортных средств. Нэбби Адамс, не имея никакой иной возможности расплатиться за гостеприимство, задумал небольшое угощение для четы Краббе. Бандиты на дороге и городишко, название которого по-малайски означало «безумство». По пути было несколько



кедаев, где Нэбби Адамс задолжал относительно малую сумму. Выставит им пару пива. Самое меньшее, что можно сделать.

– Вы уверены, что мы сегодня сумеем вернуться? – спросил Краббе. – Дорога дальняя.

– Вернетесь вовремя, чтоб хорошенько соснуть перед Днем физкультурника, – заверил Нэбби Адамс. – На этот счет можете не волноваться.

Покачиваясь на заднем сиденье навязанной себе машины, Краббе думал о Дне физкультурника. Должны возникнуть проблемы. Он предчувствовал, что Бутби не захочется слишком часто зевать по прошествии этого самого дня. Он слышал шепотки, подмечал конспиративные мальчишеские кивки, взгляды. Возможно, возникла полноценная возможность для мести, для отпора британской тирании. Он знал – что-то произойдет, но не мог сказать точно, что именно. Настоящий мятеж? Длинные ножи? Поджог школьных зданий?

Утро было темное, влажное, с тяжелыми тучами. Алладад-хан обратился к ветровому стеклу с долгой речью на урду. Нэбби Адамс высокомерно слушал.

– Говорит, будто думает, дождь собирается, – перевел он. – Да что он знает. Понимаю, чего он имеет в виду. Ехать хочет, чтоб сегодня вернуться к жене и ребенку. Не хочет, чтобы я начал где-нибудь выпивать. В любом случае, – сказал Нэбби Адамс, – так сказать, отправляемся в путь. Кeday вон там, вверх по дороге.

В жалком кедае, где, впрочем, бегали куры, козы мирно трясли бородами, несколько сикхов радостно выпивали бутылку самсу большой крепости. И упросили вновь прибывших присоединиться к их обществу, жирно улыбаясь из-под бород. Алладад-хан был суров. Только одну бутылку. Нэбби Адамс красноречиво возражал, ругался, но Алладад-хан стоял на своем как камень. Надо ехать. Он смотрел в грязное окно па грязное небо, где тяжелыми кольцами вяло двигались тучи.

– Кем он себя воображает? – сказал Нэбби Адамс. – Приказывает вышестоящим. Только потому, что добыл чуточку денег у жены из копилки, думает, будто может мне указывать, черт побери. Ну уж нет. – Но вполне покорно выпил теплого пива и, пока небеса еще больше темнели, согласился продолжить долгую дорогу.

– Здесь люди в самом деле другие? – спросила Фенелла. На уме у нее были прохладные библиотеки с антропологическими отделами. Она автоматически мысленно видела введение в монографию: «Аборигены Верхнего Ланчапа представляют в этимологическом и культурном

отношении совершенно иную картину по сравнению с жителями прибрежных районов...»

– Сами увидите, – сказал Нэбби Адамс. – С духовыми ружьями и с абсолютно голыми задницами. – Утратив контроль над собой, стараясь усмирить избирательную любовь собаки, он позволил вырваться этому слову. Шокированный, принялся извиняться, но скоро перестал. Ничего хорошего не выходило. Нет у него салонных талантов. Лучше ему заткнуться. Мрачно закрыл глаза, глядя, как перед ним танцуют ухмылявшиеся цифры:

Бунь Чонг – \$157

Хен Сень – \$39

Раздраженно задремал. Во сне он выпивал в Бомбее, расплачиваясь рупиями. Компаньоны по выпивке были до того признательны, что придвигались ближе, радостно задыхались, выражали жаждущую благодарность, бородатые выпивохи влажно, сочно лизали его в нос. С глубоким бурчанием Нэбби Адамс отпихнул собаку. Катясь под тяжелыми небесами мимо каучуковых деревьев и жалких деревушек, Краббе тоже немного соснул. Он плоховато спал в последнее время. Проваливаясь в два-три часа ночи в глубокое изможденное забытие, постоянно был вынужден вырываться из холодной водяной могилы; проснувшись, искал сигарету и книгу, боясь вновь очутиться в обманчивых объятиях.

Алладад-хан и Фенелла тихо разговаривали между собой на медленном малайском, приправленном немногочисленными английскими словами. Она быстро училась его понимать, быть им понятой.

– Она извела меня, – говорил Алладад-хан. – Когда задержусь, хочет знать, где я был. Не верит, когда говорю, на дежурстве был. Теперь говорит, меня видели с женщиной-европейкой, кричит, обзывает дурными словами, просит брата устроить мне перевод в его округ, чтобы все время видеть, чем я занимаюсь. Жизнь превращается в ад.

– Будьте хозяином, – посоветовала Фенелла. – Заявите, что будете делать по-своему. Вы ей ничего не должны. Не должны даже...

– Но вопрос ответственности, долга. Я на ней женат, должен помнить о ней.

– Если снова начнет ныть и жаловаться, дайте пощечину.

– Мужчина не должен бить женщину.

– Иногда женщина рада пощечине. Всегда знает, когда заслужила.

– Вы открыли мне глаза, – сказал Алладад-хан.

Дождь, как толпы футбольных болельщиков, ждал, когда придет пора ринуться, хлынуть в открывшиеся ворота. Джунгли, угрюмо и грозно стоявшие, позволяя пробегать дороге, казались оскверненными и запутанными в слабевшем свете. Горы наполовину окутал туман. Вскоре с оркестровым рокотом начался дождь.

– Это нас задержит, – сказал Алладад-хан. – Видимость ухудшается, скоро зальет дорогу. – Стеклоочистители быстро и монотонно качались, подобно, думал Алладад-хан, ему самому, укачивавшему ребенка. Слева направо, палево, направо, налево. Вскоре машина стала островком, окруженным водой. Двое позади очнулись от влаги на лицах, плотно закрыли все окна. Вода все равно просачивалась в машину, на полу образовалась неглубокая лужа. Нэбби Адамс монотонно ворчал на урду, бросая слова слева направо, налево, направо, налево.

– Скоро придется остановиться, – объявил он. – Мы рядом с Толкатом, или как он там называется.

– С Толкатом?

– С Толкатом. Там пара кедаев. Можно дождь переждать. – Жажда начинала сильно одолевать Нэбби Адамса. Во рту пересохло после неосвежившего сна, в машине жарко, душно, за быстро задраенными запотевшими окнами.

Мрачность сидела за соседним столом, когда они, оставив машину в луже среди торжествующих уток, уткнулись локтями в холодную мраморную облицовку в ожидании пива. Дождь хлестал, бичевал, изливался, упиваясь с водяночной страстью иссохшей землей.

– По-моему, – сказал Нэбби Адамс, – лучше нам молча вознести молитву. – Нежданно-негаданно на него нахлынуло воспоминание о самом себе, помощнике могильщика, давным-давно в Страстную пятницу качавшем орган. Деревья были мокрые, могильные плиты купались в весеннем потоке. И тогда, изо всех сил качая, и потом, при последнем хоре «Распятия» Штайнера, он решил уйти, черт с ним со всем, бросил органиста посреди аккорда, воздух со стоном уходил в пустоту, словно воздух, который выходит со стоном из трупа, когда поднимаешь его, чтобы спину обмыть.

– Отче, помилуй их, – сказал Нэбби Адамс, – ибо не ведают, что творят. – Собака подошла лизнуть ему руку, потом, издавая запах старых консервированных персиков, попыталась залезть на колени. Выпили пресного водянистого бутылочного пива, Нэбби Адамс почуял намек на изжогу.

– Вот, черт возьми, и расплата, – сказал он с неожиданной страстью.

Думал об Индии и позабыл, идет ли когда-нибудь в Индии дождь.

Краббе взглянул на табличку «Плевать запрещено», висевшую на стене, голова у него закружилась от абсурдности запрещения плевать на четырех языках, твердивших одно и то же на одной и той же табличке. Худенькая китайка-купальщица манила с календаря. Из-за нее, из плывущей открытой кухни, доносились звуки страдальческого кашля.

– Наливайте для ровного счета, – сказал Нэбби Адамс, – пускай хоть с ведерко.

Радостный бешеный дождь вновь кинжалами пронзал дорогу, грандиозно барабанил по жестяной крыше, весело булькал, захлебывался в сточных канавах.

– Иногда, – сказала Фенелла, – хочется умереть.

Алладад-хан произнес речь. Надо поторапливаться. Нэбби Адамс почувствовал укол зубной боли.

– Хотите сначала чего-нибудь съесть? – спросил Краббе.

Посмотрели на тарелки, соблазнительно расставленные на столе перед ними, накрытые туманными пластмассовыми крышками. Были там какие-то пирожные тошнотворного розового цвета, красное желе в формочках, бледные круглые комья пышек с холодной козьей печенкой внутри. Все молча чистили крошечные бананы, принимая их, словно лекарство. Нэбби Адамс чувствовал дальнейшие уколы в зубе и в двенадцатиперстной кишке.

Дождь бросился на них стайей больших мокрых собак, когда шли к машине-островку. Надо поторапливаться. Дождь стал их миром; они изумленно глядели в окна своего танка, мчавшегося сквозь потоки, на тонущие джунгли, лачуги, плавающие рисовые поля. Дорога им одним принадлежала. Ни одного другого транспортного средства не было видно, пока они плюхали в Джилу. Может, проехали указатель? Может, живым и вновь восставшим мертвым велено сообщить в некий огромный город замерших фабрик и остановленных автомобилей, которыми больше не будут пользоваться, что здесь, в зените, в дождь Последнего Дня, стоит Он во славе Своей, фланкированный трубящими серафимами. А они вместе с тем самым квакающим неразумным тукаем все это пропустили, попивая без удовольствия пиво, вчетвером, за много миль от всякой жизни, в конце жизни. Они везли свою вину в багажнике, как запасное колесо.

Чудесным образом в середине дня обнаружили, что выскочили из дождевого пояса. До Джилы было еще двадцать миль. Небо стало почище, дороги посуше, обнаружили живые люди, шли по деревушкам, ехали на велосипедах, время от времени даже в автомобилях. К счастью, открыли окна. Но надо было поторапливаться.

– Уже подъезжаем, – сказал Нэбби Адамс. – Нам в своем роде просто чертовски везет. В дождь террористы не сильно высовываются. Хорошо бы, вот тут был бы дождь, а не там. – Позади почти слышался по-прежнему яростный небесный потоп.

Фенелла чувствовала тошноту. Не испуг, одну тошноту. Тошноту от поездки в машине, тошноту от небольшой лихорадки. Но нельзя просить останавливаться, только не сейчас. Хотя в ответ на долгую речь Нэбби Адамса на урду Алладад-хан остановился...

– Пускай оружие держит, – пояснил Нэбби Адамс. – Я поведу на этом участке.

Может быть, попросить чуточку обождать, пока она выскочит на обочину дороги... Но подумают, будто она испугалась.

– Тут на самом деле останавливаться не надо, – сказал Нэбби Адамс. – На прошлой неделе засаду устроили. Раньше надо было пересесть. Он должен был мне напомнить. У него оружие есть. Пусть воспользуется, если придется.

Фенеллу тошнило сильнее. Теперь въезжали в обширные плотные джунгли, дорога вилась через них широкими кривыми, почти повторяясь. Быстро ехать невозможно. Когда Нэбби Адамс осторожно поворачивал руль, собаку его осенило, что ее место с ним, впереди. Она вырвалась, вывернулась из рук Алладад-хана и Краббе, неуклюже перевалилась, легла у ног хозяина на тормоза, на рычаг передач. Нэбби Адамс взорвался и в потоке яростных речей едва не загнал машину в широкие дебри джунглей с выжженной солнцем растительностью. Собака пыталась забраться к нему на колени. Прогнать ее стоило немалых трудов. Фенелла прижала к себе дрожавшее задыхавшееся собачье тело, сполна надышавшись больными ноздрями собачьего запаха. Нэбби Адамс ехал медленно.

– Вот это место плохое, – сообщил он. – Никогда не угадать, где они окажутся. Иногда свалят поперек дороги чертовски огромный ствол дерева. Сразу знаешь, чего получишь. Прекрати, – сказал он собаке, страдальчески тянувшейся лизнуть его в нос.

Еще миля. И еще. Джунгли жутко молчали. Дорога лениво бежала между глубокими постелями из лиан, набитыми бездыханной, грязной, потной, не знающей солнца зеленью. Верхушек деревьев не было видно. Небо залавливали изогнутые руки, пальцы растений-паразитов, душивших и сосавших своих хозяев поднебесной высоты. Не слышалось звуков. Лишь змея впереди червем скользнула через дорогу и поплыла, как рыба, по зеленому морю на полу джунглей. Еще миля. И еще. Алладад-хан с оружием наготове вдруг увидел самого себя, Алладад-хана, в фильме, с

оружием наготове. Ха! Она кажется такой далекой, со своим вопящим молочным отродьем. Приключение. Он слышал саундтрек с атмосферической музыкой.

Еще миля.

– Что это? – вскинулся Краббе. Движение за деревом, затряслась листва паразитов.

– Обезьяна чертова, – сказал Нэбби Адамс. Еще миля. Фенелле нужно было стошнить, здесь и сейчас, что бы они ни подумали, если б только носовой платок можно было достать... Собака игриво ее чмокнула.

Еще миля. Ни звука, только мотор, медленные шины, дыхание. Теперь как бы въезжали в тайную суть зеленой жизни, которую она замалчивала, аннигилируя все, что сделано руками...

Повернули и выехали на дорогу пошире. Стало видно небо. Джунгли отступали.

– Проехали, – сказал Нэбби Адамс. – Теперь порядок. Благодарение Господу Иисусу Христу. Боже, – добавил он, – отдал бы свою распроклятую левую ногу за хорошую бутылку «Тигра».

Фенелла, дрожа, сказала:

– Не остановите ли на минутку? Мне надо... На обочине дороги трое мужчин ей прислуживали, ободряли.

– Все выплескивайте, – говорил Нэбби Адамс. – Давайте, до самого доньшка. Вспомните какое-нибудь розовое пирожное в той самой лавке.

Джунгли позади припали к земле, теперь бессильные, снова запертые в своей клетке.

Ибрагим почти приготовился к отъезду. Квартира сегодня в его распоряжении, полно свободного времени, чтоб собрать свой баранг, выбрать несколько вещей на память о хозяине и хозяйке. Амина – ама – получила два дня отпуска на визит к больной тетке в Тайпине. Поэтому в обществе только грохочущего дождя Ибрагим царствовал в заброшенной Резиденции, чувственно ей наслаждался.

Лучше ему уйти. За последние недели тревога изглодала его до костей. Лучше уйти, спрятаться в таком месте, которое жена не найдет, которого не обнаружат джохорские паванги. Повезло познакомиться с толстым плантатором, жившим ниже по тимахской дороге. В кино встретились. Ибрагим хорошо знал толстого плантатора, часто видел в компании со светлым молодым человеком из Министерства осушения и орошения. Но в последнее время светлого молодого человека часто замечали в компании с другим мужчиной, с белолицым служащим таможни в невинных очках на крошечном носу, и Ибрагим догадался, что толстый плантатор обижен и одинок. Плантатор это подтвердил, предложив Ибрагиму место повара и друга в своем большом пустом бунгало в огромном поместье. Никто, конечно, думал Ибрагим, никогда его там не найдет. В поместье была лавка, в трех милях оттуда маленький кампунг, и, если Ибрагиму захочется вкусить прелестей цивилизации, легче добраться до Тахи-Панас, чем до Куала-Ханту. И плата хорошая: сто двадцать долларов в месяц на всем готовом. Несомненно, перемена к лучшему.

Ибо тревоги в последнее время сделали из него плохого слугу. Двойные тревоги. Он взял восемь долларов у Рахимы и купил себе новый прелестный саронг да еще несколько безделушек, но смертельное снадобье так и лежит в ящике с барангом под койкой Ибрагима. Ибрагим был уверен в смертельности зелья. Слышал, что теперь Рахима ненавидит туана Краббе, и мем Краббе тоже, желая обоим смерти. Или если не смерти, то порчи, увечья. Мем наверняка потеряет блестящие волосы, туан лишится потенции. Ибрагим слышал такие истории на базаре, на рынке. А потом получил от Рахимы гадкое письмо, кратко написанное крошечными яванскими письменами. «*Белум лаги пеганг джанд-жи...*» Согласен, он не выполнил обещания, но теперь знает, на что она, с женской лживостью и коварством, злодейством, хотела его толкнуть. Он на это не способен. И Рахима грозила ужасными карами. Попросит паванга проткнуть его

фигурку булавками, наслать духов, которые сведут его с ума и заставят, вопя от отчаяния, прыгнуть вниз с высокого балкона.

Две женщины на него ополчились. Ибрагим застонал. Но хорошо известно, что они не имеют над тобой власти, если не знают, где ты. Последняя примерно неделя была адом. Подавая как-то вечером суп, он вдруг взвизгнул и уронил тарелки. Потому что коврик у двери столовой внезапно сам собой поднялся, протанцевал пару шагов к столу и там остановился. Ибрагим слышал о демоне, который маскируется под коврики, но никогда раньше такого не видел. Оставив на полу дымившийся суп и осколки посуды, он ринулся к себе на кухню и там, пав на колени, испуганно помолился. А потом, одним тихим вечером, перебивая обеденные тарелки, убедился, что за холодильником притаился *ханту дапур*, готовый к злобной выходке, готовый все кругом перебить, если его не смягчить приношением бананов, риса или приглашением в гости. И самое страшное – Ибрагим был уверен, что за окном его спальни плывет *пенанггалан*. Почти видел качавшуюся голову, шею, длинные перепутанные висевшие кишки. Почти слышал визг: «Сью, сью, сью». Хвала Аллаху, обычно они ищут только дома с новорожденными, жаждая младенческой крови. Может, ему сгодится уборщик-тамил в соседнем квартале, у которого каждый год новый младенец пополняет Царство Божие. А потом кто-то сказал Ибрагиму, будто видели, как кладбищенский дух ворочается и вертится в саване на лужайке перед домом. Неудивительно, что Ибрагим похудел, неудивительно, что не может работать как следует.

Туан им недоволен в последнее время, называет грубыми словами. И мем все время говорит, когда пробует кэрри или берет тарелки, которые он позабыл подогреть, что-то вроде: «Ушас, ушас». Да, получается, надо уйти. Ибрагиму нужен не столько хозяин, сколько друг, ласковый, любящий, даже если в кэрри чересчур много чили, а картофельное пюре водянистое и холодное.

И вот Ибрагим сложил свое имущество в ящик и в кейс из кожзаменителя. Уложил также черепаховые гребни хозяйки, две картонки с заколками для волос, лифчик, шелковую блузку. А еще веер из перьев, который всегда ему нравился. Взял пачку бритвенных лезвий туана (в подарок новому хозяину), пару жестянок с сигаретами. Можно также запастись простынями. Он знает, в каком они ящике. И конечно, немного денег.

К его досаде, денег в ящиках письменного стола не оказалось. Нигде не было денег, кроме нескольких бесполезных монет в маленькой лаковой шкатулке. Туан всё спустил. Все равно, можно продать что-нибудь. Есть две



неоткупоренные бутылки джина, которые принесут ему двадцать долларов. Бутылка шерри только наполовину полная, с ней ничего не поделаешь.

Со временем Ибрагим сел в кресло в гостиной, потягивая апельсиновый сок из стакана, снова глядя на смертельный пузырек, который вручила ему Рахима. Дождь по-прежнему хлестал и гремел, река поднималась. Скоро явится нанятый велорикша. Довезет до окраины города. Потом автобус до Келапа. Оттуда можно пешком дойти до поместья, оставив в кедае ящик, который потом пришлют. Он крутил и крутил пузырек, чувствуя себя виноватым. Взял деньги и потратил. Если это смертельный яд, нечего его винить. Действовал он в абсолютной невинности. И снова, может быть, яд не смертельный; Рахима, безусловно, не такая дура. Но любовь, думал он, содрогаясь, делает с женщиной странные вещи. Туан и мем в любом случае плохо с ним обошлись, с Ибрагимом бен Мохаммед Салехом. Ибрагим попытался почувствовать жестокость, горечь, но столкнулся с трудностями. Долго раздумывал, стараясь почуять обиду. Из всех сил хотел им услужить, а они благодарности не проявляли. То слишком холодное, это слишком горячее, то недосолено, это пересолено. И даже не заметили, что он теряет в весе, а на душе у него тяжело.

Когда снизу слышался колокольчик велорикши, одиноко звякавший сквозь страстный дождь, Ибрагим принял решение. Пошел к буфету и вылил содержимое пузырька в шерри. Цвет шерри не изменился, запах – он нюхал пьянящие винные пары – тоже. Может, в конце концов, вреда в самом деле не будет. Вдобавок, думал Ибрагим, Пророк запрещает крепкие напитки, и, если что-нибудь случится с тем, кто пьет крепкий напиток, может быть, это будет справедливой карой. Так или иначе, он свое условие сделки выполнил. Может, Аллах вознаградит его за верность своим обещаниям, может, Аллах так устроит, чтоб жена его скончалась от лихорадки или от коммунистов.

Ибрагим себя чувствовал чистым и добродетельным. Осталось сделать только одну вещь. Он взял из ящика письменного стола листок бумаги, а с самого стола карандаш. И начал трудолюбиво писать по-малайски латинскими буквами прощальное послание.

«Туан». А что дальше? *«Сайя суда лепас керья»*. Правильно. От работы он вынужден отказаться. *«Себаб сайя ди-джанджи керья янь лебе байкр»*. Ему предложили работу получше. *«Сайя тидак маху гаджи керана керья ди-буат оле сайя булан уни»*. Он отказывается от жалованья за этот месяц. Берет его вещами. И вновь себя почувствовал добродетельным, великодушным, потому что служил, денег не получил; а также себя

чувствовал восхитительно обманутым. Поводил карандашом над каракулями. Кажется, нечего больше сказать. Колокольчик велорикши нетерпеливо звякал сквозь унылый дождь. Он добавил: «Янь бенар, Ибрагим бен Мохаммед Салех», – искренне ваш, и, как бы спохватившись: «янь ма'афкан», – прощающий вас.

Потом, с чистым сердцем, понес добро к дверям квартиры. Все еще шел сильный дождь. Он набросил на плечи пластиковый дождевик своей бывшей хозяйки и, в облаке спокойной добродетели, пошел к велорикше, к началу новой жизни.

– Бестолку, – сказал Нэбби Адамс. – Не стоит даже начинать сегодня транспортные средства осматривать. Я никогда не закончу, поэтому начинать нет особого смысла. Дождь и всякое такое. Удалось бы раньше добраться сюда, когда бы не дождь, да если бы не неважное самочувствие миссис Краббе, да если бы не прокол. Придется ночевать. Могут устроить нас в полицейском участке. Там имеются симпатичные камеры.

– Я должен вернуться, – сказал Краббе. – Мне завтра на работу.

Они сидели в кедае на единственной улице Джилы, как бы разыгрывая спектакль перед всем населением города и ближайшего кампонга. Зритель был благодарный, не склонный к критике. Маленькие улыбчивые люди сидели на корточках перед их столиком у стены, за сидевшими на корточках сидели другие на стульях, за ними запоздавшие, которым пришлось стоять. После начальной сцены спектакля Нэбби Адамсу, красиво стукнувшись головой об висевшую керосиновую лампу, делать, по мнению Краббе, было вроде бы нечего. Но в жизни горожан и ближайших сельчан случалось мало развлечений, и они наверняка испытывали благодарность к коричневому мужчине с оружием, к огромному желтушному ворчливому мужчине, к бледному мокрому школьному учителю в пропотевшем белом, к мокрой золотоволосой богине. В шуме за кулисами не было недостатка. Собака Мошна, закрытая в машине, визжала, скулила; ей громко отвечала собственная собачья публика.

Примитивная драма была главным образом религиозной; маленькие коричневые улыбавшиеся матроны без конца подносили младенцев к Фенелле для прикосновения и благословения. Полуголые *оранг дараты* с висевшими по бокам трубками для стрельбы курили крепкую местную махорку, завернутую в сухие листья, наблюдали, слушали.

– Не вижу, как у вас это получится, – сказал Нэбби Адамс. – Вы машину вести не хотите, а он мне для перевода нужен.

– Вопрос не в том, что не хочу, – язвительно, в сердцах сказал Краббе. – Мне просто что-то не позволяет.

– В тюрьме ночевать не хочется, – сказала Фенелла. – Надо вернуться. Ох, почему ты не можешь водить, Виктор?

– Зачем вам тут переводчик? – злобно спросил Краббе. – Почему сами не говорите на этом чертовом языке? Ведь вы тут давно.

– Почему вы сами чертову машину не водите? – парировал Нэбби Адамс.

– Это дело другое.

– Почему это?

– Ш-ш, – сказала Фенелла. – Прошу вас, не ссорьтесь.

Публика, довольная грубым, быстрым пассажем раздраженного языка, обменивалась улыбками. Некоторым запоздавшим в задних рядах кратко излагали интригу.

Алладад-хан, сидевший на сцене, произнес длинную речь. В ответ Нэбби Адамс произнес другую. И наконец, сказал по-английски:

– Говорит, отвезет вас назад, а потом сам вернется сюда завтра утром. Хотя все это чертовски досадно.

– Почему? – спросил Краббе.

– Что мне делать, торчать тут самому по себе?

– У вас есть собака.

– У нее денег нет. А у него есть.

– Вот десять долларов, – сказал Краббе.

Впрочем, в конце концов, одиночество Нэбби Адамсу не грозило. Вошел новый персонаж в сопровождении маленьких человечков, которые несли одежду и наручные часы. Коричневый и почти лысый, он приветствовал Нэбби Адамса на английском еврейском кокни.

– Привет, корешок. Все крепко поддаешь, а?

– Это Ранджит Сингх, – сказал Нэбби Адамс. – Присматривает за местными *сакаями*. Садись, – пригласил он.

– Не называй их *сакаями*, кореш. Им не нравится. – Ранджит Сингх, раз уж имя было объявлено, казался супругам Краббе загадочно безбородым. Чистое бритье и абсолютная лысина намекали на Черную Мессу. Ранджит Сингх демонстрировал свое отступничество всему свету. Жена его была евразийкой и католичкой, дети ходили в монастырскую школу, сам он, отрекшись от веры сикхов, стал убежденным агностиком. Занимал пост заместителя Протектора аборигенов, а задача его заключалась в наставлении маленьких человечков на путь истинный и в использовании их знания джунглей в борьбе с террористами, фактически, они никак не могли подвергнуться моральному разложению под влиянием коммунистов, но сильно поддавались более понятному и осязаемому разложению путем подкупа и награды из коммунистических фондов. Им нравились наручные часы и сигареты «Плейер»; жены их быстро привыкли к губной помаде и к лифчикам. Неизбежный процесс, к которому Краббе прибегал в классной комнате, распространялся даже на сердцевину

змеистых, пиявочных джунглей. Три маленьких человечка нашли стулья, приняли пиво, вступили в спектакль. Им хотелось мифа и экзотики. Собравшиеся забормотали, заплевались соком бетеля. Но все-таки ждали. Может, спектакль кончится, как начинался, – большой мужчина снова стукнется головой и послышится рокот непонятных слов, нагоняющих благоговейный ужас.

Раджит Сингх принял нечестивую гостью в виде сигареты. Ни один истинный сикх никогда не курил. Когда пиво пошло по кругу, свет померк, зажгли керосиновые лампы, Краббе понял, что начинает завязываться посиделка. И сказал:

– Знаете, надо нам об отъезде подумать. Дорога назад долгая.

– Об отъезде? – сказал Раджит Сингх. – Вам надо остаться, кореш, поглядеть танцульки.

– Танцульки? – сказала Фенелла.

– Ох, просто попрыгают чуточку, – сказал Раджит Сингх. – На самом деле, просто чуточку повеселимся, потому что я только вернулся сюда из Тимаха. Любой предлог повеселиться. Хотя нам придется немножко потопать сквозь джунгли. Пешком. Машина не пройдет.

Это несколько притушило первую вспышку энтузиазма «Золотой ветви» у Фенеллы. Впрочем, все-таки танцы аборигенов... Замаячила монография: «Культурные обычаи *оранг даратов* по необходимости ограничены. Джунгли дают им кров, пищу, снабжают антропоморфным пантеоном того типа, который знаком нам по наблюдениям за примитивной жизнью в Конго, на Амазонке и в прочих центрах, где примитивная цивилизация как бы остановилась, так сказать, на «бамбуковом уровне». Нравы простые, правление патриархальное, искусства практически сводятся к примитивному неумелому орнаменту, который украшает оружие и кухонную утварь... Однако в танцах *оранг дараты* достигли существенных стандартов ритмической сложности и живости высокого порядка...»

Один из *оранг даратов* куртуазно спросил по-малайски Фенеллу, не желает ли она еще пива. Она, к своему изумлению, поняла, и столь же куртуазно отказалась.

– Надо возвращаться, – твердил Краббе.

– Но, милый, – возразила Фенелла, – мы должны посмотреть танцы, должны. Можно, в конце концов, ехать всю ночь.

– А Алладад-хан?

– Утром вернется. Он не возражает.

Спектакль подошел к концу. Персонажи раскланялись. Нэбби Адамс

снова стукнулся головой об висячую лампу. Довольная публика начала деликатно расходиться по домам, оживленно болтая, обсуждая, сравнивая...

– Надо было бы нам пустить шапку по кругу, будь я проклят, – заметил Нэбби Адамс.

Путь сквозь джунгли освещали светлячки и пара электрических фонарей. *Оранг дараты* шли впереди уверенной походкой. Вдалеке крикнул тигр, какая-то живность шмыгала под ногами Фенеллы. Пиявки впивались в нее и, напившись, отваливались. Впрочем, вскоре показались огни впереди и грубые лачуги на просеке. Мускулистые крошечные мужчины в трусах и маленькие женщины в лифчиках и почти без всего остального ошеломленно таращились на явление Фенеллы. Женщины энергично стрекотали между собой, обсуждали ее, прицеливали языком, выпаливали массу слов, но без интонаций.

Вечер разочаровал Фенеллу. Кувшин тодди ходил по кругу, вместе с ним клейкие рисовые лепешечки. Аборигены оказались гостеприимными. Но танцы представляли собой лишь счастливую суету, песни были безыскусными и простыми, как упражнения для пяти пальцев. Два барабана отбивали легкие ритмы, один старик дул в флейту, сначала ртом, потом носом. Если не считать тодди, просто веселый бойскаутский вечер...

В полночь увидели, что Нэбби Адамс с собакой благополучно заснули, надежно пристроив рядом бутылку уже затхлого тодди.

– Отлично сгодится на завтрак, – сказал Нэбби Адамс. – Постараюсь достать ей немножечко рыбы на утро или еще чего-нибудь.

И вот обратный путь. Фенелла заснула, растянувшись на заднем сиденье. Алладад-хан и Краббе, приведенные тодди в приподнятое расположение духа, рассуждали по-малайски о философии.

– Вопрос в том, действительно ли вещь существует, когда мы ее не видим.

– Можно слышать или чувствовать по запаху.

– Нет, нет, я имею в виду... – Хорошо бы придумать нужное малайское слово. – Я имею в виду, если мы ее не ощущаем с помощью своих...

– Чувств?

– Да, чувств. Нельзя быть уверенным, что она существует.

– Значит, джунгли, может быть, существуют только у нас в голове?

– Возможно. И машина тоже. И вы существуете только в моей голове.

– И жена моя существует только в моей голове? И ребенок?

– Возможно.

– Большое было бы облегчение, – сказал Алладад-хан со вздохом. Он

медленно, умело проехал плохой девятимильный участок. Тодди высунул невидимым врагам язык, наставил длинный нос.

Только когда давно миновали опасность, но были также далеко даже от мельчайшей лачуги аттап на пути к дому, машина сломалась. Алладад-хан дергал рычаг, дергался и ругался в ночи. Проснулась Фенелла.

– В чем дело?

– Что-то с мотором. Бог знает. Нам сегодня не вернуться, пока кого-нибудь не остановим и не получим помощи.

– И что делать?

– Тут будем спать.

– Тут спать? – взывала Фенелла. Алладад-хан копался во внутренностях автомобиля. Как он ненавидит моторы, как они его ненавидят.

Все бесполезно. Устроились спать, полчаса прождав появления на пустой дороге спасительного транспортного средства. Очнулись вскоре после первого неудобного сна, обнаружили, что снова начался дождь. Задраили окна и лежали в душной жаре, маня сон, под дождем, мириадами металлических кулачков колотившим по крыше машины. Теперь Краббе с Фенеллой на заднем сиденье, забившись по углам, Алладад-хан спереди.

Все прикидывались перед другими спящими, все закутались в собственные несколько кубометров тьмы, все под собственным барабанным приватным дождем. Все одержимые миром тьмы, миром крутящейся громыхавшей воды. Всё казалось далеким-далеким, постель, дом, всё, что можно признать удобством. Каждого по отдельности поглощал дождь и тьма, каждый казался другому чужим. Однажды мимо просвистел и исчез грузовик, осветив каждого перед другими в виде груды черноты и серебра.

Алладад-хан, проспав час, очнулся от чуждости, от отсутствия звуков. Дождь больше не шел, но дверцы машины были затоплены. Небо расчистилось, светила луна. Алладад-хан видел близость конца настоящего лунного месяца. Он молча открыл окна, впусив сильный затхлый запах мокрой травы, деревьев, земли. Краббе смотрел, как он опускает стекла, ничего не сказав и не пошевелившись. Фенелла спала, очень слабо храпя. Когда Алладад-хан вроде бы снова заснул, Краббе тихонько положил руку на плечо Фенеллы, перевалил на себя ее сонную тяжесть. Его переполняло ужасающее сочувствие к ней и страстное желание быть любимым. Алладад-хан, спокойно проснувшись, наблюдал за ним. Лупа неощутимо двигалась к закату.

Алладад-хан проснулся от дальнего крика петухов в кампонге во тьме. Во сне это был шум скотного двора в Пенджабе. Он вновь был мальчиком,

спал с братом в одной постели. Скоро проснется к завтраку, к школе. А проснулся в Малайе, в незнакомой постели, за спиной у него ритмично дышали незнакомцы. Чувствовал абсолютное одиночество, но и странную уверенность, как бы понимая, что одиночество – это ответ, которого ищут философы.

Последним проснулся серый расширявшийся свет. В окно дверцы водителя заглядывало заинтересованное китайское лицо, разговаривало, расспрашивало. Алладад-хан настроил запнувшийся мозг на нужный язык. Смутно видел седан, стоявший на дороге.

- Помощь нужна?
- Далеко до Тонгката?
- Почти девять миль. Я туда еду.
- Не могли бы вы попросить в гараже, чтоб прислали...
- Да-да.

Краббе с женой бурчали, зевали, волосы растрепаны, веки слиплись, сами грязные, изможденные. Ну и денек будет, думал Краббе. Никогда ему вовремя не успеть, а сегодня встреча с губернатором, ленч с султаном, школьный День физкультурника. Позвонят на квартиру, Ибрагим скажет, туан еще не вернулся. У него нет оправданий. Глупо предполагать, что вообще удастся вовремя вернуться. В лучшем случае он вернется почти к концу Дня физкультурника. От Тонгката Куала-Ханту шесть часов пути. И починка машины. В самом лучшем случае вернется к середине Дня физкультурника.

Краббе вылез из машины, размялся поутру, уже набравшему жар. Наплевать. Он слишком стар, чтобы дергаться из-за подобных вещей. Но также слишком стар для выговоров со стороны Бутби, слишком стар, чтоб позволить себе роскошь расквасить Бутби физиономию. Лучше смириться, лучше не создавать проблем. А сегодня он уверен: есть нечто, что может сделать только он. Уверен, возникнут проблемы, и решить их может только он.

Алладад-хан с печалью смотрел на автомобильный двигатель, говорил что-то о протекающем масле, о заевшем подшипнике. Фенелла угрюмо расчесала волосы, постаралась сделать подобающее лицо. Уже настал полный день.

Они топтались вокруг машины, курили, ждали помощи из гаража. Прошел час до прибытия веселого механика-китайца, который отбуксировал их в Тонгкат. В Тонгкате сказали: протечку можно устранить приблизительно за полтора часа.

- Надо взять такси, – сказал Краббе.



– Такси? На всю дорогу? – возмутилась Фенелла. – Если ты не вернешься, значит, не вернешься, и все. Сейчас же позвони, скажи, что у тебя машина сломалась. Скажи, пускай ждут.

Телефон был в маленькой почтовой конторе. После долгих проволочек Краббе дозвонился в школьный офис. Услыхал голос индуса-рассыльного. Старший клерк еще не пришел.

– Да?

– Передайте, я застрял в Тонгкате.

– Да.

– Машина сломалась.

– Да.

– Постараюсь вернуться как можно скорей. Передайте.

– Да.

– Все ясно?

– Да.

Краббе пришел обратно в кедай, где Фенелла пила черный кофе, глядя на желчно-розовые пирожные.

– Ну, я сделал все, что мог, – сказал он.

Алладад-хан крутил усы, помня про свою мокрую грязную форму и запачканные ботинки. Он не говорил ни слова, купаясь в непонятном беспричинном удовольствии.

Только в десять часов удалось выехать из Тонгката. Машина, держа теперь масло, быстро двигалась в солнечном свете. Фенелла лежала на заднем сиденье, стараясь сном вылечить головную боль. Алладад-хан с Краббе впереди беседовали о метафизике.

– Трудно сказать подобные вещи на таком языке, как малайский. Но один человек, Платон, верил, что все на земле вещи просто копия *чонто далам шруга*, небесного образца.

– Значит, есть один автомобильный двигатель на уме у Бога, а все прочие на земле пытаются ему подражать.

– Да, что-то вроде того.

– А этот Божий мотор никогда не ломается?

– О нет, невозможно. Он идеален.

– Понятно. – Алладад-хан проехал мимо очередного каучукового поместья. – Но какая Богу польза от автомобильного двигателя?

– Бог знает.

– Верно. Бог лучше знает.

Они катились спокойно, уверенно. «Вы въезжаете на белую территорию». «Вы покидаете белую территорию».

– Должно быть, – заметил Алладад-хан, – коммунисты умеют читать по-английски. Они джентльмены, это указание соблюдают.

В два часа съели сате, выпили пива в безрадостном кампонге с плевавшимся враждебным народом. Краббе думал: «Уже начался День физкультурника; может быть, начались и проблемы. И я, будучи вдалеке от проблем, обязательно буду связан с проблемами».

– Еще полтора часа, – сказал Алладад-хан, – и вернемся. Ох, – вспомнил он что-то. – Я в Джилу не позвонил. – И помчался в полицейский участок.

– Как себя чувствуешь, дорогая? – спросил Краббе.

– Ох, сыта по горло, убита.

– Не слишком было весело, правда?

– Ничего не могу поделаться, – призналась Фенелла. – Ужасно тоскую по дому. Пройдет. Просто думаю про добрый ленч в том самом итальянском местечке на Дин-стрит, потом, может быть, французский фильм в «Керзоне» или в «Первой студии». Наверно, я не гожусь для Малайи. Что мы получили в конце своего бесконечного путешествия? Всего-навсего глупых маленьких человечков, танцующих глупый маленький танец. И бутылки теплого сингапурского пива.

– Ты романтик, – заключил Краббе. – Слишком много ждешь. Реальность всегда скучна, знаешь, но как только увидишь, что в ней ничего больше нет, она чудесным образом перестает быть скучной.

– По-моему, ты сам не знаешь, что говоришь.

– Наверно, ты права. Очень уж я устал.

– И я тоже.

Реальность перестала быть скучной на домашнем отрезке тимахской дороги. Убаюканные, беспечные, одурманенные гулом мотора, бесконечно пробежавшими мимо каучуковыми поместьями, джунглями, зарослями, редкими лачугами, они практически не придали значения стоявшей сожженной машине, искореженной гряде металла, загородившей дорогу. Алладад-хан воскликнул при виде нее и свернул вправо. Там хватило бы места проехать, если машина возьмет травянистый склон...

Краббе отчетливо видел желтых мужчин с ружьями, видел, как они целятся с серьезной сосредоточенностью. Потом услышал, как весь мир треснул, и трескался снова и снова. А потом руки Алладад-хана отпустили руль. Он в смертельном изумлении схватился за правую руку. Автомобиль взбесился, Фенелла завизжала. Краббе дотянулся, схватил руль, вновь овладев машиной.

Бездыханные полмили, и обе ноги Алладад-хана крепко ударили по

педалям. Машина остановилась. Алладад-хан тяжело дышал, исходил потом, завернутый рукав весь в крови, кровь текла по предплечью.

– Возьмите платок, – сказал Краббе, когда Алладад-хан перебрался назад. – Наложите шину. Остановите кровь. – Фенелла нашла в сумочке карандаш, завязала платок, сунула карандаш в узел, начала крутить.

Краббе был за рулем.

– Слава богу, недалеко от больницы Сунг-кит, – сказал он. – Миль десять.

– По-настоящему глубоко, – объявила Фенелла. – Рука раздроблена. Чертовы свиньи, – добавила она. Алладад-хан застонал. – Ну, ну, дорогой, – утешила его она. – Скоро все будет в полном порядке. Теперь недолго.

Краббе прибавил скорость, пустился во всю прыть. Прошло немало времени, прежде чем он понял, что снова ведет машину. Больше того, хорошо ведет. И поистине возликовал. Ему почти хотелось запеть.

– Нет, – сказал Бутби, – не присаживайтесь. Так и стойте.

– Я так понял, стоять можно вольно? – уточнил Краббе.

– Прошло время для чертовых дурацких шуточек, – сказал Бутби. – Вы сейчас свое получите. Хотите погубить свою собственную карьеру, я не возражаю, но когда стараетесь заодно погубить и мою...

– Я до сих пор не знаю, что произошло, – сказал Краббе. – Признаю, что я не был на ленче, на Дне физкультурника, но сделал все, что мог. Звонил в офис. Не моя вина, что вы сообщения не получили.

– Дело все в том, – сказал Бутби, – что вы специально решили отсутствовать. Знали, что должно произойти.

– А вы знали?

– Не валяйте дурака, черт возьми. Один вы знали, причем потому, что это ваша идея. Вы все это затеяли.

– Я до сих пор не знаю, что произошло.

– Я вам расскажу, черт возьми. Все там были, султан, ментри безар, и британский советник, толпы народу из Куала-Лумпура, бог весть сколько царственных особ со всей Федерации. Сыграли гимн штата, все было хорошо, пока не объявили первое соревнование по легкой атлетике.

– Да? И что случилось?

– Вам чертовски отлично известно. Ничего не случилось.

– Ничего?

– Эти маленькие ублюдки просто так и остались сидеть. Отказались, будь я проклят, участвовать в любом состязании. Кроме юниоров. Поэтому мы увидели только бег с яйцами в ложках, бег в мешках, прыжки в длину и в высоту. Вот такой День физкультурника.

– Кто-нибудь что-нибудь сделал по этому поводу?

– Я сам вопил до посинения. Потом ментри безар обратился к мальчишкам-малайцам, Коран процитировал. А некоторые из них до чертиков смахивали на баранов.

– Ясно. Кто был заводилой?

– Откуда мне знать, черт возьми? Знаю только, это ваша идея.

– Со всей серьезностью, держа себя в руках, спрошу, почему вы так думаете?

– Почему я так думаю? Мне это нравится. С тех самых пор, как вы тут, все время поощряете мальчишек нарушать дисциплину. Возьмите то самое

дело насчет исключения. Я был прав, и вы это дьявольски хорошо знали. Но им говорили, будто я не прав. Мне все известно, не думайте. Сказали, будто я проклятый тиран. И стояли за той самой демонстрацией протеста, когда я побил палкой старост. И когда отменил выходной из-за плохих экзаменационных отметок. Все стало ясно. Паре здешних старост хватило ума, черт возьми, сообразить, с какой стороны хлеб маслом намазан. Я все про вас слышал. Парень, на которого вы ополчились, тот самый парень-китаец, которого вы называете чертовым коммунистом, кое-что мне рассказал.

– Например?

– Например, что вы сами симпатизируете чертовым коммунистам. К себе на квартиру его привели и сказали, коммунисты правы, а британцы не правы, не признавая коммунистическую партию. Будете отрицать?

– Я пытался кое-что из него вытянуть. И по-прежнему утверждаю, что он коммунист, а если вы присмотритесь повнимательней, может быть, обнаружите в нем корень ваших проблем. Я и раньше вам говорил, да вы ничего делать не пожелали по этому поводу.

– Этот парень-китаец у меня лучший староста, черт побери. Именно он вчера всех уговаривал, угрожал даже. Был в слезах. Сказал, школа опозорена, я опозорен, принцип демократии опозорен. Вот. Что вы на это скажете?

– Только одно. Чересчур вы наивны для этой жизни, будь я проклят.

– Слушайте, – грозно сказал красный Бутби. – Я скажу, что с вами будет, Краббе. Вас переведут, и к тому же с чертовски плохим отзывом. А в конце срока службы, по-моему, взащей выгонят.

– Знаете, Бутби, наверно, на самом деле это я наивен. Просто не понимаю. Все делал для этих мальчишек, даже думал, будто кое-кто из них меня любит. Думал, будто действительно с ними поладил.

– О, вы с ними в самом деле поладили. Устроили славный эффектный мятеж. Выставили меня и всех прочих кучей чертовых дураков.

– Бутби, поверьте, я с этим делом ничего общего не имею. Честно сказать, вы никогда мне не нравились. Я всегда вас считал неумелым автократом, несимпатичным, наихудшим директором для такой школы. Но мне никогда даже в голову не приходило делать что-либо настолько нелояльное, настолько...

– Да, я ваше мнение обо мне точно знаю. Точно знаю, чем вы занимаетесь день за днем в классе, на спортивной площадке, в столовой, на собраниях старост. Вы их настраивали против меня, значит, настраивали против всего, на чем школа стоит. Вы предатель. Всегда были предателем.

И в награду получите, что полагается проклятому предателю, обождите, увидите.

– Очень жаль, что вы так считаете, Бутби. Поистине жаль. Вы совершаете очень серьезную несправедливость по отношению ко мне.

– Лучше вот на это взгляните, – сказал Бутби, протягивая отпечатанный на машинке листок. – Свидетельство о ваших поступках. Протест одного из самых лучших в этой школе парней.

И Краббе прочел:

«Дорогой сэр!

Надеюсь, вы простите, что я вам пишу, но я понял, что меня все больше тревожат некоторые вещи, которые говорит в классе мистер Краббе, учитель истории, особенно насчет руководства школой. Знаю, я говорю от имени всех мальчиков, когда говорю, что такие вещи ему не следует говорить. Он говорит так, будто сам руководит школой, и всегда критикует вещи, которые вы, сэр, делаете для того, чтобы школа была полезной и счастливой школой.

Сначала он сказал, что Хамидина исключили несправедливо. Потом он сказал, что неправильно бить палкой старост, когда они неправильно поступают. Потом он сказал, что несправедливо лишать школу праздника, когда хорошо известно, что это единственный способ дать школе понять, что на экзаменах надо лучше работать. Потом он сказал, что вы, сэр, не прислушиваетесь к вещам, которые говорят мальчики, когда приходят с вами повидаться. И по-моему, у мистера Краббе много неправильных политических мыслей, и он говорит о свободе и независимости, имея на самом деле в виду коммунистов.

Однажды он вызвал меня к себе на квартиру и задавал много вопросов. Кажется, он был недоволен, что я стараюсь помочь младшим мальчикам понять, какой плохой коммунизм. Он мне сказал следующее...»

– Хорошо, – сказал Краббе. – Вот это свидетельство, куча лжи и полуправды. Как думаете, долго мне ждать перевода?

– Это будет чертовски скоро, – сказал Бутби. – Что касается меня, чем скорее, тем лучше. – В этот момент вошел посыльный с воскресными газетами. Бутби с угрюмой сосредоточенностью бегло просмотрел первые страницы «Санди газетт» и «Санди багл». – Снова про вас, – сказал он. – На всей первой странице. По мне, лучше бы вас как следует, черт возьми, подстрелили.

Краббе вышел, несколько не огорченный. Полный абсурд; правда рано

или поздно выйдет наружу. Он себя чувствовал чистым, невинным, словно только из душа. Сел в свою собственную машину и медленно поехал к пансиону Лайт. Завтра надо как-нибудь подать прошение насчет водительских прав. Он с огромным удовольствием ехал по городу, объезжая детей и кур, к ленчу, к ленчу, лично приготовленному Фенеллой. Как люди замечательно умеют предавать. Ну, если его собираются переводить, он в любом случае не собирался брать с собой Ибрагима. Все равно, как подумаешь о воровстве, на которое глядел сквозь пальцы, о весело съеденных дурно приготовленных блюдах, о невысказанных упреках за фантастическую прическу, за похотливое вилянье бедрами, чувствуешь себя немножечко уязвленным. Он вспомнил Риверса, яростное лицо, искаженное над усами, растущими из костлявого британского носа. Риверс на пароходе сейчас, наверно, говорит: «Высечь, избить, шкуру с живых содрать...» Может быть, Риверс прав?

Нет, Риверс не прав. Лучше не изводить себя жестокостью. Восток всегда сохраняет спокойное лицо с легким изумлением, не тронутое ни злобой, ни пониманием оскорбления. Поэтому бесполезно пытаться что-нибудь сделать с юным китайцем-предателем, возражать Бутби. Картина сама сложится.

– Меня переводят, – сказал он Фенелле.

– Куда?

– Не имею понятия. Считается, будто я стою за маленькой забастовкой, устроенной вчера в День физкультурника.

– Забастовкой?

Краббе ей все рассказал. Потом она сказала:

– Значит, дело Отелло покончено.

– В каком смысле?

– Двое огорчатся, услышав, что мы уезжаем.

– Да. Но все равно, куда б мы ни поехали, можно сделать чертовски много полезного.

– Наверно.

– Может, выпьем перед ленчем?

– Не говори про ленч. Просто закуска. Этот испорченный парень практически очистил кладовую. Оставил нам суп в банках и пару банок сардин. Я всегда говорила, нет в нем ничего хорошего.

– Да. Слушай, я уверен, у нас джин есть. Не могли ж мы все выпить, конечно?

– Ты забыл о способностях Нэбби Адамса.

– Все равно... Шерри есть.

Краббе налил и включил проигрыватель. Пластинка приготовилась, одна из стопки на автоматическом сменном шпинделе. И началось: струнные поднялись с ля до долгого педального фа, через ми к ми-бемоль, тут вступили деревянные духовые с кисло-сладкими аккордами. Затянутый оргазм Вагнера.

Слабость поздно на них навалилась в тот воскресный день. Лежали в постели, курили, потели, недоумевали. До чего жизнь странная. Когда кажется, будто она хуже некуда, приходит изумленное откровение. Благовещение и богоявление. Долго спали после наступления темноты, не слыша шума внизу.

Зевая после обеда в окружении книг из своего книжного клуба, Бутби поставил *стенгу*, вышел к робкому посыльному, поджидавшему, не слезая с велосипеда, на улице у открытых дверей.

– Поздно работаешь, – сказал Бутби. – В чем дело?

– *Сурат, туан.*

– Письмо? От кого? – Бутби взглянул на детский почерк на дешевом конверте. Без штампа. – Ладно, можешь идти.

Разорвал конверт и прочел:

«Дорогой сэр!

Надеемся, вы простите самонадеянность и несвоевременность нижеизложенного. Мы услышали, что мистера Краббе выгоняют из школы, где он сделал много добра и хорошо работал, мальчикам, которых он учил, трудно будет его позабыть. Мы говорим, что вчерашнее происшествие в День физкультурника произошло не по вине мистера Краббе, хотя мистер Крайтон как раз так сказал нескольким старшим мальчикам, но мы почтительно сказали бы, сэр, что мистеру Крайтону не надо было бы говорить это ученикам, а держать при себе. Ну, сэр, чтобы своевременно покончить с необычно длинным посланием, вчерашнее происшествие было делом некоторых мальчиков, которые сказали, что сделать то, что сделано, мысль хорошая, хотя некоторые из нас говорили, нет, этого делать не надо. Один из тех мальчиков уже наказан, получил по носу, и глаз ему подбили. Это называется итоговая справедливость. В заключение просим, чтобы мистера Краббе не выгоняли, а разрешили дальше учить мальчиков, которые иначе будут жалеть о его уходе. Вы поймете, такое письмо нельзя подписывать именами, и мы просто подписываем с наилучшими



пожеланиями:

«Честные Игроки».

Бутби перечитал и зевнул. Его жена, тощая длинная блондинка в выцветшем синем халате, спросила:

– Что-нибудь важное, дорогой?

– Ничего, – сказал Бутби. – Просто очередное анонимное письмо. С ними одно можно сделать. – И после таких своих слов яростно разорвал письмо раз, другой, третий, а потом швырнул клочки в мусорную корзину. И вернулся к своей *стенге*.

Алладад-хан проснулся после очень освежившего сна и вспомнил, где находится. Он никогда раньше не был в больнице, только навещал Адамс-сахиба, который после падения в забеге ветеранов на полицейских соревнованиях был помещен в госпиталь в Куала-Лумпуре с закрытыми внутренними повреждениями. Именно тогда Адамс-сахиб решил примерно неделю ходить трезвым, ложиться в постель сразу после дневной работы. Адамс-сахибу трижды в день давали молоко, и он рад был выйти из госпиталя.

Теперь сам Алладад-хан лежит в госпитале с почетным ранением. Из разорванной плоти и связок вытащили пулю, а руку зашили. Полежит несколько дней, отдохнет и поправится. Алладад-хан оглядел чистую белую палату с открытыми окнами, без зелени, куда лилось солнце. На других койках мужчины спали, мрачно читали, смотрели в потолок или в пустое пространство. Раздражительный древний китаец получал выговор от малайки-сестры за плевки на пол. Аллах, кое у кого дурные манеры. Сестра-малайка была крошечной, но речь ее текла обильным энергичным потоком. Алладад-хан ей восхищался.

Он посмотрел налево, увидел дремавшего мужчину в тюрбане. Лицом мужчина повернулся в другую сторону от Алладад-хана. Алладад-хан гадал, будут ли у него сегодня посетители. Может, жена его теперь раскается, станет больше верить рассказам о задержках на дежурстве. Хотя, думал Алладад-хан, мало связи между задержками на дежурстве и ранением ранним утром бандитами. А женщины нелогичны, и могут потребовать связи.

Мужчина в тюрбане застонал, повернулся, стал садиться в постели. Алладад-хан увидел, что это Хари Сингх. Секунду гадал, не проделка ли это Хари Сингха с целью досадить Алладад-хану, отсрочить выздоровление. И удивленно сказал:

- Как, ты тут?
- Я, как видишь.
- Я так понял, что ты в местном отпуске. Привык проводить отпуск в больнице?
- В футбол играл и получил серьезную травму.
- А. А в меня коммунисты стреляли, из руки вытащили большую пулю.

– Похоже, нынче это обычный случай. Могу тебя заверить, что травма, полученная мной на футболе, крайне серьезная. Ну, с Божьей помощью, ожидается, что я поправлюсь.

– Что стряслось? Большой палец об мячик ушиб?

– Нет. Упал и повредил лодыжку, вдобавок вся ступня почернела.

– А. Какая, если можно спросить?

– Левая.

– Так я и думал. Бог справедлив, тут не может быть сомнений.

– Не вижу никакой справедливости.

– Кто ты такой, чтоб говорить против Бога? Помнишь, как я тебе выговаривал, как ты презрительно надо мной насмехался, как кричал в большую черную бороду, жаловался начальнику окружной полиции на мою якобы тиранию. Вспомни о преступлении, о котором шла речь, за которое ты получил справедливый упрек.

– Я не понял, куда клонит твое довольно-таки многословное заявление.

– Вспомни, как ты непростительно поставил свою огромную назойливую ногу на ногу мем-сахиб.

– А, вон что. Это ничего.

– Ты говоришь, ничего, но Бог запомнил и Бог покарал. У Провидения длинные уши, большие глаза, длинная мстительная рука. Ногу твою покалечила божественная справедливость.

– Прошу тебя ничего об этом не рассказывать Притам Каур и детям. Они придут навестить меня нынче утром.

– Прямо твоей жене ничего не скажу. Просто намекну на единственно справедливое наказание.

– Умоляю умолчать об этом. Видишь, у меня тут еда в тумбочке. Бананы, шоколад, кувшинчик куриного бульона. Приглашаю все это разделить со мной.

– У меня от друзей много подарков. Мне не нужны твои взятки. Однако я доволен, что свершилась справедливость, и больше ничего не скажу об этом довольно неприятном деле.

Пришла Притам Каур с двумя маленькими детьми, детьми неопределимого пола, у одного пучок волос на макушке, другой лепетал на младенческом пенджабском. Притам Каур была маленькой огневой женщиной в шелковых шароварах и сари. Зазвучали громкие страстные приветствия. Хари Сингху вручили фрукты, пирожные, свернутые в трубку журналы, газеты. Некоторые журналы оказались китайскими, Хари Сингх на этом языке не читал, но в них было полно фотографий девушек из

кабаре и футбольных звезд. У Алладад-хана посетителей не было. Он лежал, индифферентно курил, слушал многоречивую семейную жизнь Хари Сингха. Присеменило дитя осмотреть Алладад-хана, оставило на покрывале след растаявшего шоколада. Алладад-хан очень тихо побеседовал с ним по-английски, и дитя вернулось к отцу.

– Вот, – громко, щедро сказал Хари Сингх, – газета тебе почитать. Английская, но, без сомнения, никаких трудностей не доставит тому, у кого много английских друзей, кто прилежно изучает книжечку, которую мне еще не вернул.

– Вернет. Хотя не могу понять, почему тот, кто так красноречиво рассуждает о своей ноге, придает столь важное значение книжечке с английскими словами.

Хари Сингх притворно громко рассмеялся.

– Он говорит о моих футбольных талантах, – пояснил он жене.

Алладад-хан попробовал почитать «Тимах газетт», но сумел разобрать смысл только нескольких слов. Впрочем, для Хари Сингха прикидывался, будто бы поглощен длинной статьей, проиллюстрированной фотографией крупной рыбы. Губы молча выговаривали воображаемые слова, нахмуренные глаза быстро бегали вдоль строчек и вниз. Но, перевернув страницу, он сразу искренне увлекся короткими новостями. Там красовался снимок двух счастливых людей, одного из которых он узнал немедленно. Кто ошибся бы в личности обладателя длинных зубов, длинного носа, суровых усов? Это был Абдул-хан. Да, новости подтверждали, Абдул-хан... Абдул-хан... командир районной полиции... мисс Маргарет Тан... Сингапур. Алладад-хан мало что еще мог понять из прочитанного, но фотография все объясняла. Счастливые косые глаза китайки, с виду среднего возраста, любовная близость к персоне шурина Алладад-хана. Так. Он в конце концов женится, ясно, причем не в своем клане. Ему, Алладад-хану, пришлось поступить правильно, выразить солидарность с этим гордым домом, но Абдул-хан выше подобных вопросов чести, когда, разумеется, вопрос о том, чтобы сбыть сестру с рук, не стоит. Алладад-хан терпеливо ждал, когда Притам Каур начнет проявлять признаки ухода. Госпиталь стоял далеко от Куала-Ханту, автобусы ходили не часто, возможно, будет верещать со своими запачканными шоколадом отпрысками, пока не задребезжат подносы с полдником. Но, к счастью, она скоро сказала, что надо идти. Торговый фургон Мохамеда Зайна, торговца женскими лекарствами в Куала-Ханту, рано прибыл тем утром в Тимах, водитель обещал заехать за ней на обратном пути. Теперь он, Алладад-хан, мог немного простить Хари Сингха, позволить продемонстрировать

владение английским, переводя новости на пенджабский.

Прощания были столь же многословными – сплошной жар постели, поцелуйное чмокание глубоко, как в берлогу, зарывшихся в нее супругов, – столь же тошнотворно откровенными, как приветствия. Притам Каур потребовала, чтобы муж выпил куриный бульон и набрался сил; чтобы предупредил, пускай врачи и сестры следят за гангреной; чтоб обязательно требовал часто взвешиваться. Дети были расцелованы, стиснуты в пухлых объятиях; потом все махали руками, высказывали сердечные пожелания, пусть она без него крепится, и он без нее тоже. Потом в палате вновь стихло.

Алладад-хан сказал:

– Не переведешь мне вот это? Некоторые слова не могу ясно понять. От страшной боли в руке глаза слезятся.

– Мужайся, брат, – сказал Хари Сингх. – Боль то и дело ко всем нам приходит. Ни одному мужчине ее не избежать. Одни мчатся к опасности с полным пониманием, как я, например; а другие случайно. Посмотрим, что надо тебе объяснить. – Хари Сингх надел большие очки для чтения и медленно перевел.

Алладад-хан лежал на спине, слушал. Вот оно что. Скромный брак в регистрационной сингапурской конторе. Никаких гостей. Китайка христианка, дочь мужчины, разбогатевшего на каучуке. Аллах, эта свинья неплохо устроилась. Тогда как он, Алладад-хан...

– Да я знаю про это, – сказал Хари Сингх. – Знаю подобные вещи, ибо у меня много влиятельных, хорошо осведомленных друзей. Я тебе раньше сказал бы, если б ты потрудился спросить у меня новости про своего шурина, но ты редко интересуешься его деятельностью. Преуспевший мужчина, перед ним великое будущее. Он по своей доброте пригласил меня вместе с несколькими своими друзьями присутствовать на мальчишнике приблизительно за неделю до свадьбы. Я не смог быть из-за семейных обязанностей и не будучи пьющим мужчиной. Но от одного из присутствовавших, от китайца-инспектора, знаю, виски лилось рекой, и твой шурин утратил всякую способность что-либо поглощать и удерживать. Безусловно преуспевший мужчина.

Алладад-хан молчал. Обида стала медленно претворяться сперва в облегчение, а потом в ликование. Наконец у него есть мощное оружие в борьбе с женой. Больше не будет толков про добродетели Абдул-хана, не будет угроз насчет перевода в округ Абдул-хана, не будет призывов Божьего гнева на его, Алладад-хана, невинные проступки и неблагочестие. Теперь он, Алладад-хан, предстает раненым, пожертвовавшим ради клана

здоровьем мужчиной, верным традициям своих отцов. Он, Алладад-хан, не продается женщинам, поклоняющимся из страсти к Маммоне нечистому ложному Богу. Что такого, если он, Алладад-хан, чуточку выпьет и постарается расширить кругозор путем общения с образованными людьми? Он заслуживает время от времени какого-то исцеления от ран, которые наносили поступки того, в ком его раньше учили видеть идеального Хана, задуманного Богом Хана. Он, Алладад-хан, обманут. Его святой сказался одной из постыдных дешевых икон, которые сам Пророк в самой Мекке запретил и проклял. Он, Алладад-хан, – разбитый Кориолан. Подстрелен коммунистами при исполнении долга, долга, подразумевавшего кормление ее стыдливого тела кэрри и чапатти для производства молока ее молочному отродью. Аллах, речь об этом теперь не идет. Он, Алладад-хан, теперь будет хозяином в казарменной квартире.

Он лежал на спине, улыбаясь, грезя о новой жизни, о жизни, которая начнется почти сразу, фактически в тот самый момент, как она его явится навестить. Мысленно смаковал ее слезы стыда и досады. Слышал надтреснутый голос раскаяния. Слышал собственный голос, голос хозяина, говоривший с господским презрением или с мягким снисхождением:

«Меня всю ночь не будет. Возможно, и завтра. Если вернусь домой пьяный, приготовь сильное западное лекарство под названием рассол. Держи его для меня наготове».

Или:

«Если не научишься хорошо себя вести, собирай вещи и отправляйся жить к родственникам в Куала-Лумпур, пока не усвоишь как следует подобающее для жены поведение».

Или:

«Да, бог свидетель, ты должна слегка развлечься. Я намерен пригласить своего шурина к нам сюда в гости. Купи, пожалуйста, по такому случаю бутылку виски, ибо твой брат необычайно любит этот напиток».

Или:

«Пусть в Пенджабе разводиться не принято, мы сейчас живем в Малайе, где на улицах полным-полно нищенок, бывших жен, не угодивших мужьям. Я тебя уверяю, дважды не стану раздумывать, когда ты мне надоешь. Потом, возможно, последую высокому примеру твоего брата, возьму себе в постель богатую китаянку».

Или...

Но пока хватит. Впереди Алладад-хана ждут счастливые времена. Теперь можно немного поспать, предоставив Хари Сингху бурчать про себя насчет прав сикхов и близорукости Совета по выдвижению.

– А если скажете, будто вообще хоть что-нибудь про это знаете, значит, вы – чертов лжец, – сказал Флаэрти с какой-то эпилептической яростью. – Посмотрите на этот мир, старина. Выйдите па шоссе, на проселочные дороги. Восток, – махнул он руками, воздев их к потолку в змеином танце, – распроклятый Восток. Тогда как это такой же Восток, как вон тот распроклятый валяющийся ботинок. – Ткнул негнущейся дрожащей рукой, обвиняющим жестом оратора с импровизированной трибуны. – Нет, я знаю Восток. Я там был. В палестинской полиции с конца войны, пока не стали собирать манатки.

Нэбби Адамс застонал на своей узкой койке. Если б он не досадил чете Краббе, выпив в прошлые выходные до завтрака целую бутылку джина, лежал бы сейчас в гостеприимном плантаторском кресле у них на веранде. А теперь приходится слушать, как Флаэрти прожигает часы сна в длинных пьяных монологах. Уже почти четыре утра, а выпить нечего.

– Почему вы в пылающую постель не ложитесь? – спросил Нэбби Адамс.

– В постель? В постель? Нет, вы только послушайте, кто говорит про постель. Никогда не бывает в постели неделями, и только благодаря решению почтить это проклятое заведение своим благородным присутствием думает, будто может командовать и указывать вышестоящим, как жить. Я вам говорю, – говорил Флаэрти, тыча тупым пальцем горевшего в адском огне проповедника, – говорю вам, конец недалек, совсем недалек. Вижу, как вы тонете в проклятой сточной канаве, дюйм за дюймом, в помоях. Я о вас заботился, как мать родная, не раз спасал от гибели, нянчился с вами, наставлял на путь истинный, и какую когда-нибудь получил благодарность? Я вас просветить старался, невежественную задницу, рассказывал про места, где бывал, и с какими был *бинтами*, вел умные беседы, когда другой бы сказал: «Пускай в собственном соку варится, ибо блаженны невежды», – но никогда не слышал благодарного слова из вашего беззубого рта. Я потратил на вас хорошие деньги, я вас прикрывал, я вас предупреждал, но вы останетесь тем, чем всегда были: огромной пьяной задницей; так и будете сбивать людей с пути, не имея в своем распроклятом огромном теле ни унции благородных чувств и благодарности за поступки друзей. – Из-под насупленных бровей Флаэрти, слегка задыхаясь, бросил огненный взор.

– Вы пива какого-нибудь принесли с собой, Пэдди? – спросил Нэбби Адамс.

– Пива? Пива? – взвизгнул и заплясал Флаэрти. – Клянусь своей высохшей Библией, что, если б настал Судный день, и покойники поднялись из могил, и мы все построились бы, чтобы выслушать приговор распроклятый, и Он во всей Своей славе и величии встал бы огненным столпом в тучах Судного дня, вы бы думали об одном: где бы достать бутылочку распроклятого «Тигра». Будет вам пиво там, куда вы в конце концов попадете, – посулил Флаэрти, истекая пророческим потом. – Будут целые ящики, бочки и бочки, и вкус его будет во рту вкусом адского пепла, лавы и серы; оно разъест вам кишки и желудок, и вы возопите о капле холодной воды из рук самого Лазаря, а он в лоне Авраамовом на троне праведных.

Нэбби Адамс был пронзен клыком жажды, точно мечом. Живой образ эсхатологической сухости заставил его подняться со стоном с пылавшей постели. Собака забряцала под койкой, готовая к любым приключениям, сама потянулась с собачьим стоном, вылезла из-под обтрепанного куска москитной сетки. Они вместе потащились вниз, преследуемые оракульским голосом Флаэрти.

– Посмотрите на себя, старина. Спина у вас болит, зубы выпадают, ножищи проклятые еле по полу передвигаются. И старая паршивая дворняга звякает за вами, будто распроклятые кандалы. Я вам говорю, придет день. Близится для вас конец света.

Грубый свет голой лампочки высветил пыль и грязь от ботинок в пустой гостиной, ледяную серость дверцы холодильника, запачканной десятилетними прикосновениями пьяных плеч и рук, ищущих помощи в поисках уборной. Нэбби Адамс выпил воды из бутылки, стоявшей в морозильнике. (В решетчато-железном теле большой ледяной коробки ни еды, ни пива.) Глотал, морщась от моментальной боли в испорченном зубе.

Лим Кип Суй – \$470

Чи Син Хай – \$276

Вун Фат Тит – \$128

Сполна напился, чувствуя возмущение и пузыри в желудке, чувствуя жадное возвращение реальной жажды. Снова поплелся вверх, и собака за ним; нашел Флаэрти на полу, бормотавшего молитвы Деве Марии, отбивавшего поклоны в спальне Нэбби Адамса. Нэбби Адамс взглянул с презрительным недовольством и решил, пускай Флаэрти лучше тут



остается. Собака думала иначе. Зарычала, попробовала укусить, но Нэбби Адамс ее успокоил:

– Ладно, Мошна. Оставь в покое эту счастливую задницу.

Потом счел хорошей идеей заглянуть в комнату Флаэрти. В конце концов, если Флаэрти свободно пользуется его, Нэбби Адамса, комнатой, только справедливо вернуть комплимент. Нэбби Адамс не верил, что Флаэрти ничего не принес из сержантской столовой Малайского полка. Или, скорей, не хотел верить.

Комната Флаэрти была меньше, чем у Нэбби Адамса. По обеим сторонам от чистого гребешка аккуратно лежали щетки для волос, на спинке стула висели недавно выглаженные брюки. На стене портрет Флаэрти, выполненный арабом-художником по картографическому принципу. Фотография в паспорте была расчерчена на квадраты, потом лицо, укрупняясь квадрат за квадратом, в устрашающем увеличении переносилось на большой лист плотной бумаги. Художник придал лицу Флаэрти неестественно яркие краски, как бы намекавшие на раскрашенный труп, добавил, пользуясь воображением, покатые плечи, большой красный галстук. Портрет без приятности улыбался Нэбби Адамсу, начавшему поиски. В платяном шкафу пива не было, равно как под кроватью, а также в четырех ящиках туалетного столика. Но в пятом ящике оказалось сокровище. Нэбби Адамс смотрел, подобно голодному Гулливеру, созерцавшему лилипутскую филейную часть, на аккуратную коллекцию крошечных бутылочек, содержащих по единственной стопочке разнообразных ликеров. Бутылочек было с дюжину, и все разные, одни круглые, одни прямоугольные, другие из двух пузырьков, третьи тянулись вверх от круглого донца. Нэбби Адамс осматривал с сожалением. Бедный чертяка, думал он. Бережет свою маленькую коллекцию, как мальчишка приберегает петарды к ночи Гая Фокса,<sup>[37]</sup> жадно глядя на них в одиночестве, любовно перед сном перебирая. Бедный чертяка.

Нэбби Адамс последовательно проглотил шерри-бренди, «Драмбюи», мятный ликер, «Куантро», «Джона Хейга», бенедиктин, «Три звездочки», терновый джин, «Кюммель», «Кирш». Жуткая жажда несколько отступила, и вскоре Нэбби Адамс сумел на досуге почувствовать стыд. Вот до чего он дошел: украл детские игрушки, как бы взломал кукольную копилку для удовлетворения необычного эгоистичного голода. Аккуратно составив бутылочки в ящик – они все равно мило выглядели, – вернулся к себе в комнату, и собака за ним. Там плашмя лежал Флаэрти, лицо его представляло собой искаженную маску глубокой задумчивости, Нэбби Адамс обнаружил в кармане рубашки у Флаэрти бумажный пакет

«Кэпстепа» и, набив растрескавшуюся обгоревшую трубку, снова лег под москитную сетку, критически анализируя самого себя.

Жизнь, наверно, не очень-то образцовая. Выпивка в Англии, в Индии, в Малайе. Вечно в долгах, часто пьян, порой недееспособен. Трижды был в больнице, трижды был строго предупрежден, чтобы бросил. Чего он добился? Ничего по-настоящему ни о чем не знает. Немножечко об автомобильных двигателях, об армейской дисциплине, как копать могилы, похоронное дело, как уложить покойника, обувное производство, регистрация ставок на скачках, вождение автобуса, грамматика урду, как качать орган, женщины, массаж шеи, но больше почти ничего. А тут Краббе с кучей книжек, с разговорами по музыку, про такую ологию и про сякую ологию. А тут он, Нэбби Адамс, читающий только ежедневную газету, за всю жизнь имевший всего три книжки. Одна называлась Чего-То Там Такое Бессознательное,<sup>[38]</sup> которую один тип по фамилии Эннис оставил в дежурке, и все говорили, мол, жареная книжонка, хоть фактически нет; другая – словарик на хинди по деталям автомобильных двигателей; третья смешная, под названием «Трое в лодке». Нечего предъявить, нечего. Лишь моральные долги да денежные долги, только воображаемые мили окурков и пустых бутылок.

Нэбби Адамс услышал крик бияля во тьме, утверждавшего, что нет Бога, кроме Аллаха. Для правоверных начался еще один день. Но для ни во что не верящих лучше бы ночь продолжалась, прямо до рассвета воскресного утра. Будь он в доме четы Краббе, сейчас слабо ворочался бы в приятном сне, полностью одетый, в плантаторском кресле. А потом тот самый бой четы Краббе, или теперь ама, в нежном утреннем свете принесли бы ему чашку чаю. Если Мошна, конечно, случайно не охраняла бы кресло и ревнивым рычанием не отпугнула бы чай. Потом пара стаканчиков джина на завтрак, потом первое за день пиво в кедае. Нэбби Адамс мысленно вернулся приблизительно на неделю назад в невинное детство. Его изгнали из Рая, как из другого Рая изгнали его отца,<sup>[39]</sup> за грешное желание вкусить запретное. В случае самого Нэбби Адамса – не яблоко, а донышко единственной бутылки джина. Он со стыдом и злобой заснул, переполненный снами о красочной счастливой Индии, лишенной всяких опасностей в далеком прошлом.

Проснулся с первым лучом, слыша стоны с пола и рычание из-под койки. Очнулся Флаэрти, иссушенный, больной, негнущийся, как доска.

– Ох, боже, проклятая спина. Старина, я парализован, все лицо омертвело. Ох, зачем вы меня здесь оставили? Почему по-христиански не

поступили, не уложили в постель, зная, что это ваш долг? Ох, я умираю. – И захромал прочь. Нэбби Адамс услышал рухнувшую на пружины кровати тяжесть, пару стонов, потом тишину.

Снова проснулся, когда солнце сплошь окрасило воздух в лимонно-желтый цвет и принялось окрашивать сырую прохладу. У койки стояла чья-то фигура, украдкой попивая чай. Сквозь слипшиеся веки Нэбби Адамс разглядел Джека Кейра, скупого, как дерьмо распроклятое, стащившего чашку чаю, которую бой принес Нэбби Адамсу. Он стащил ее, зная, что Нэбби Адамс редко дотрагивается до чая, тогда как сам Кейр, всеми силами экономя, отказывался что-либо платить за уборку и предпочитал есть один раз в день, посылая за кэрри на пятьдесят центов. Нэбби Адамс снова закрыл глаза.

В девять часов проснулся совсем, с сильной жаждой. Немного полежал, гадая, как раздобыть нужный доллар. Ворпол не даст, Кейр тем паче, Флаэрти не сможет, только не сейчас. Куки? Нет, больше нет. Нэбби Адамс надел штаны, шлепанцы и пошел вниз. Неделью назад он отдал десять долларов из своего долга старому тукаю через дорогу. Десять долларов одолжил ему Краббе. Можно ведь попросить одну маленькую бутылочку?

В гостиной была постелена скатерть, возле рюмочек для яиц стояли две бутылки соуса. Никто еще не завтракал. Бой-повар озабоченно стоял у стола.

– *Сайя т'ада вань, туан.*

– Знаю, что у тебя денег нет, черт возьми. Я и не попросил бы, даже если бы были. – Гордый мужчина с собакой вышли, переправились через дорогу.

Воскресенье на кампонгской улице было просто обычным днем. Кедан давно открылись, малайские ребятишки давным-давно ушли в школу. Нэбби Адамс мрачно шагал к лавке Гуан Мо Чана, Мошна брякала следом, мятые полосы пижамы объявляли всему свету о его срочных нуждах. В темной лавке толпилось все семейство. Старик выговаривал молодой бесформенной женщине, которая держала одного ребенка, другого вела за руку в темные глубины жилых помещений. Трое сыновей квакали что-то друг другу, наклонившись над единственным столом, один из них чистил золотой рот зубочисткой.

Нэбби Адамс сказал:

– *Сату ботол.*

Морщинистый старик сокрушенно хихикнул, разбирая счетные книги.

– Я все знаю, – сказал Нэбби Адамс. – В другой раз немножечко

принесу.

– *Дуа латус линггит*, – начал старик.

*Дуа ратус ринггит*. Двести долларов, черт побери.

– Слушай, – сказал Нэбби Адамс, – если ты мне сейчас дашь бутылку, большой разницы ведь не будет, правда? – Семейство слушало, непроницаемое, ничего не понимавшее. – Я имею в виду, раз уже так дьявольски много должен, один доллар никому сердце не разобьет.

– *Сату ботол, сату линггит*, – сказал старик.

– Да нет у меня распроклятого доллара. Смотри. – Нэбби Адамс выхватил из кармана штанов старый бумажник, давным-давно изготовленный в Индии, разлезшийся по швам, содержащий только удостоверение личности, сложенное письмо и лотерейный билет. Он взглянул на лотерейный билет. Ни единого распроклятого шанса. – Вот, – сказал Нэбби Адамс, – возьми. Доллар стоит. А может принести триста тысяч. Я бы рискнул. Чертовски хороший шанс за одну бутылочку «Якоря».

Старик внимательно посмотрел на номер билета. Сын тоже подошел взглянуть. Другой сын глупо демонстрировал сдержанное возбуждение, но был усмирен отцовским кваканьем. «Что-то там с этим чертовым номером», – подумал Нэбби Адамс. Китайцам везет на счастливые номера.

Нэбби Адамсу дали маленькую пыльную бутылку «Якоря», спрятавшуюся у него в ладони. Он вышел вместе с ней, слыша кваканье всего проклятого семейства. Дураки чертовы. Как будто что-нибудь понимают в счастливых номерах. Впрочем, для пего, Нэбби Адамса, номер счастливый. Он получил за него маленькую бутылку пива. Максимум когда-либо полученного с лотерейного билета.

Китаец, хозяин лавки, и его семейство наблюдали за скованной удалявшейся фигурой Нэбби Адамса и за вилявшим крупом собаки. Потом снова взглянули на номер, квакая с великим волнением. Напоказ христиане, они все фактически были даосами, и их волновало сейчас расположение девяти цифр, легко составлявших Магический Квадрат:

492357816
-----------

Китайский Ной, император Юй, гулял однажды, после Великого Потопа, по берегам притоков Желтой реки. И увидел вылезавшую из реки черепаху со странным рисунком на спине. Этот рисунок волшебным образом сложился в его глазах в Магический Квадрат, идеальное расположение чисел инь-ян. Отсюда родился план переустройства мира и

разработки идеальной системы правления.

Третий сын медленно записал цифры с билета Нэбби Адамса в виде квадрата:

4 9 2  
3 5 7  
8 1 6

Да, да! Как ни складывай – в строку, сверху вниз, по диагонали, – получишь 15, символ Идеального Человека. За пляшущим возбуждением последовал благоговейный страх. Может быть, на самом деле огромный желтый мужчина какой-нибудь бог; может, они обязаны скормливать ему все пиво, какое он пожелает. Смотрите, как за ним повсюду следует собака; у него власть над животными. Он выше обычного человеческого роста, говорит на незнакомом языке. А теперь дал бумажку с запечатленным на ней Магическим Квадратом.

– Надо нам обождать, пока результат в газете напечатают. Потом, когда выиграем, может, дадим ему курицу или даже маленькую свинью.

– Он не ест.

– Тогда, может, шесть бутылок пива.

– А счет?

– Он не знает, но счет его уже оплачен. Один человек, которому он с машиной помог в очень нехорошей аварии и не взял взятку, тот самый человек пришел и велел отослать ему счет. Так я и сделал, но большой мужчина этого еще не знает. Я ему никогда не скажу.

Сыновья захихикали над хитростью отца. Потом один сын сказал:

– Ведь сегодня день розыгрыша лотереи?

– Проверим по свету Луны. – Они пошли к китайскому календарю. – Да, сегодня будут напечатаны выигрышные номера. Английские газеты уже вышли, а китайская придет в полдень.

– Ждать недолго. Провидение ниспослало нам выигрышный билет всего за три часа до объявления результатов. Большого мужчину обязательно надо будет вознаградить пивом.

Большой мужчина вошел в обшарпанную гостиную столовой. Кейр ухмылялся над своей воскресной газетой, пока Ворпол разбивал вареное яйцо.

– Никак не разобью старое яйцо-ла. Хоть это-ла с острого конца. Бывали дни получше-ла.

– Кто-то в Ланчапе выиграл, – сообщил Кейр. – Не я, в любом случае.

Игра для дураков. Шансов миллион против одного. Доллар не потратишь, знаешь, что у тебя доллар есть. Дома это два шиллинга четыре пейса, а на два шиллинга четыре пенса много чего можно сделать.

– Кто-то в Ланчапе? – переспросил Нэбби Адамс.

– Да, – ухмыльнулся Кейр. – Вы счастливчик?

Но Нэбби Адамс уже вымелся, спрятав бутылку в просторной ладони. Собака, задыхаясь, за ним.

В кедае Нэбби Адамс сказал:

– Вот твоя бутылка обратно. Давай-ка посмотрим на тот распроклятый билет.

Тукай изобразил глубокое сожаление. Сделка совершена, нет возврата. Теперь Нэбби Адамс был уверен до чертиков, что билет что-то выиграл, что они уже видели распроклятые результаты, именно поэтому тот молодой ублюдок так дьявольски разволновался, а старик, черт возьми, постарался поймать в ловушку его, Нэбби Адамса.

– Слушай, – сказал Нэбби Адамс, – мне нужен билет. Ты получаешь назад свое пиво, я получаю назад билет. Понял?

Старик предложил Нэбби Адамсу долларовую бумажку. Нэбби Адамс взбесился, собака залаяла.

– Если не получу распроклятый билет, разнесу твою чертову лавку. – Он грозил, огромный, сердитый. Китайское семейство сообразило, что с гневом даже второстепенного бога надо считаться. Тукай вытащил с полки пачечку лотерейных билетов, протянул один Нэбби Адамсу. Нэбби Адамс подозрительно посмотрел на него.

– Пиво можете себе оставить, – добавил старик.

– Это не тот билет, – заявил Нэбби Адамс. – Провести меня хочешь. Иначе почему с такой распроклятой охотой бутылку пива отдаешь?

– Тот билет, – заверил тукай.

– Нет, черт возьми, – уперся Нэбби Адамс. – Давай тот, либо я все разнесу, все, будь я проклят, начиная вон стой самой полки сгущенки. – Огромная рука занеслась, изготовилась. Собака лаяла. Тукай, цыкая языком и причмокивая, старательно покопался в билетах, выбрал другой и отдал Нэбби Адамсу.

– Образумился, черт побери, – заключил Нэбби Адамс. – Этот больше похож. – Он исследовал номер – 112673225 – и молился Богу, чтобы вспомнить правильный.

– И пиво заберу, – сказал он.

Через десять минут Нэбби Адамс сидел в ошеломлении перед так и неоткупоренной бутылкой пива над первой страницей воскресной газеты.

Не может этого быть. Все это дьявольский розыгрыш.

112673225.

Ворпол, пивший четвертую чашку чаю, заметил:

– Чего-то стряслось со стариком Нэбби-ла. Первый раз вижу, как он завтракать-ла не хочет. Криком кричит, просит пива, а получит, и не притронется-ла.

Кейр с ухмылкой пошел на веранду сосать пустой зуб. Нэбби Адамс закрыл один глаз, открыл, закрыл другой, снова стал отыскивать номер. Столько чертовых номеров, а никак невозможно ровно держать газету. Нагнулся над ней, придерживая билет пальцем.

112673225.

Дьявольски длинный номер. Снова попытался помедленнее. 1126. 1126. Правильно. Задрожал, кровь запела в ушах, так что Ворпола не было слышно. Глубоко вдохнул и проверил с конца. 5223. 5223. Иисусе, тоже правильно. Почувствовал страшную слабость. Теперь чертова цифра посередине, если до нее удастся дойти. Только как идти? Сначала или с конца? Почти закрыл глаза, постарался сосредоточиться на сердцевине дрожавшего номера, почти умоляя, чтоб это не оказалась семерка, чтобы не пришлось трепетать, падать в обморок, чтобы не было той новой жизни, которая подразумевалась при этом. Пусть его оставят в покое, в долгах, с вечной жаждой. Впился взглядом в сердцевину длинного номера и чуть не опрокинулся.

7.

О Господи Иисусе, правда.

– Нэбби, вид у вас нехороший, – встревожился Ворпол. Потом шагнул вперед, видя чудо (Кейр тоже вернулся с веранды): Нэбби Адамс обмяк и рухнул со стула. Дом сейсмически содрогнулся от тяжелого падения. Собака залаяла. Двое мужчин пытались поднять огромную мертвую тяжесть.

– Так оставим, – решил Ворпол. – Черт возьми, достаньте немножечко бренди.

– Нету, – сказал Кейр. – И если бы было, не простояло бы у него двух минут.

– Ну откройте ту чертову бутылку пива, – настаивал Ворпол. – Нальем в глотку-ла. Давайте, старик.

Ворпол лил пиво в рот Нэбби Адамсу, пенистый напиток тек по мощному подбородку, по линиям пижаме. Собака непрерывно прыгала и лаяла.

– Приходит в себя-ла, – констатировал Ворпол. – Скажите чего-нибудь,

Нэбби. Как вы теперь себя чувствуете-ла? Иисусе, вы нас чуть с ума не свели-ла.

– Я выиграл, – простонал Нэбби Адамс. – Выиграл. Выиграл, черт побери. Выиграл, я вам говорю. Первый приз выиграл, будь я проклят. Первый приз, будь я проклят. Ох. – И опять отключился.

Двое мужчин в благоговейном страхе перед неминуемой смертью могли только смотреть на огромный обломок крушения, рядом с которым собака скулила, юлила, искала, куда бы лизнуть. Любящий холодный язык, ласкавший покрытые пеной губы, вернул Нэбби Адамса к жизни. Он застонал.

– Точно выиграл, черт побери. Выиграл. Первый приз, будь я проклят.

– И клянусь богом, правда. – Ворпол держал газету и билет, сличал, проверял, перепроверял, убеждался.

– Никакой ошибки. Вот, черным по белому. Глядите, старик.

– Выиграл. Выиграл. Ох, Иисусе, выиграл.

– Ну, ну, Нэбби, – успокаивал Ворпол. – Рядом с вами друзья-ла. Через минуту вам будет немножечко лучше. Пошлю куки за пивом.

– Я вам говорю, выиграл, выиграл. Боже.

– Триста пятьдесят тысяч баксов, – молвил Ворпол. – Выдача через неделю, считая с сегодня-ла.

– Триста пятьдесят ты... – Кейр сел, обмяк, как увядший лист.

– Выиграл. – Теперь Нэбби Адамс слегка успокоился, собрался с силами, бледный, как смерть, смирившись со смертным приговором. Сел, разбитый, на стул, рассеянно потрепал собаку.

– Ты выиграл, парень, – подтвердил Ворпол. – Куки! – крикнул он. – Мы собираемся отмечать. Ящик «Тигра».

– «Карлсберга», – поправил Нэбби Адамс. – Немножко дороже, но лучше.

– «Карлсберга», – исправился Ворпол. – Бренди. Шампанскогола. Всего, чего пожелаете.

Нэбби Адамс мрачно исследовал выигрышный билет, руки по-прежнему едва держали.

– Ради бога, не потеряйте, – предупредил Ворпол. – Я его вам сберегу.

– Нет, – сказал Нэбби Адамс. – Он сбережет. У него безопасней.

– Кто?

– Краббе. Краббе его сбережет. Я его Краббе отдам. У него будет в полном порядке.

Притащился куки со звякающим ящиком пива, сказал, это подарок большому туану. Поверх бутылок лежала ошипанная курица, поблескивая



льдом из холодильника.

– Вечно одна и та же чертовщина, – мрачно заключил Нэбби Адамс. – Когда у тебя что-то есть, оно дальше идет. Лучше бы мне умереть, черт возьми.

– Так и будет, – ухмыльнулся Кейр. – Скоро.

И тут случилась странная вещь. Собака Мошна оскалила на Кейра зубы и бросилась на него с низким животным рычанием.

– Уберите ее! Позовите! – Кейр попятился к выходу. Обнаженные зубы Мошны приготовились вцепиться. – Чертова псина! – Кейр выбежал на улицу, озверевшая Мошна за ним. Мужчина и собака скрылись, набирая скорость. Нэбби Адамс видел изумленные лица малайцев, наблюдавших из-за кулис. И откупорил бутылку «Карлсберга».

– Я выиграл, – сказал он, прежде чем выпить.

К концу семестра река без конца поднималась. Еще можно было ездить по улицам Куала-Ханту, по жившие поблизости от берегов перебирались на крыши, базар пришлось закрыть. Вверху по течению грохотал дождь, и вскоре, к Рождеству – рождению пророка Исы, – Куала-Ханту содрогался, бичуемый обезумевшими небесами. Потом жившие на холме оказались в уютной изоляции, лодки сновали между каменными и деревянными островами, цены на продукты воспаряли, как пьяные. Тем временем состоялась прощальная вечеринка Краббе у Конг Хуата – по пять долларов с носа для всех штатных сотрудников, плюс плата за выпивку, без всякой запрещенной мусульманам свинины.

По сложившейся в школе Мансора традиции уезжавший учитель устраивал китайский обед. Хотя жены не приглашались, не было ни грубой ругани, ни двусмысленных шуток, пьянели не сильно. Просто очередное служебное собрание с зевающим Бутби во главе стола, с повесткой дня из уклончивых блюд, которые подавались более-менее беспорядочно, просто ставясь на стол по мере готовности. При этом никто не мог точно сказать, когда обед кончится. Однажды куриные ножки явились среди тостов, в другой раз сначала подали мороженое. *Туда'ана*.

Сотрудники были очень довольны некоторыми новостями, только что просочившимися, фактически в сам день обеда. Бутби тоже уходит. Его переводят в незаметную школу где-то в Паханге. Провиденциально, что новости просочились в тот самый момент: теперь обед был прощальным для двух человек; каждый как бы сэкономил пять долларов.

В верхнем обшарпанном помещении Конг Хуата Краббе в последний раз оглядывал своих коллег: мистер Радж с мрачными челюстями; мистер Роупер, золотой пухлый Адонис, горько смотревший на Бутби, словно Бутби по-отцовски его опекал; Джервез Майкл, черный тамил-католик; Ли, математик-китаец, перебиривший пальцами скорлупки арахиса, как костяшки счётов; инчи Джамалуддин, вопросительно глядевший поверх робких очков; туан хаджа Мохаммед Нур, который говорил по-английски, и сейчас выглядел благосклонно, как бы уверенный в своем спасении; Крайтон с австралийскими яблочными щеками помми;<sup>[40]</sup> Макнис из Ольстера; четыре щурившихся малайца па испытательном сроке; географ Хунь; Уоллис, человек искусства; инчи Абу Закарис, мастер столярных работ; Салмонс, точные науки; Гора Сингх с огромным животом,

седобородый, в тюрбане, почти наезжавшем на очки в стальной оправе.

– А-у-у-у-у-у-у! – И разумеется, Бутби.

– Вам не нравится суп из акульих плавников, мистер Бутби? – сказал Гора Сингх. – Очень наваристый, клейкий. Полезен для желудка.

– Любую рыбу не выношу, – сказал Бутби. – У меня сыпь от нее высыпает.

– Моя сестра, – вставил инчи Джамалуддин, – точно так же не может грибы есть. Раздувается, почти как беременная, от одного запаха. Это стало одной из причин, по которым она вышла замуж в двенадцатилетнем возрасте. Другая причина – японцы. Они не брали замужних девушек в простые солдатские бордели.

– Суп из акульих плавников имеет афродизиакальный<sup>[41]</sup> эффект, – объявил мистер Радж. – Даосы верят, что двойственность инь и ян проявляется даже в еде. Вареная рыба, куриный и овощной суп, даже грибы считаются охлаждающей пищей, съедобной материализацией ян, чистым первичным воздухом. Инь, или земной элемент, присутствует в жареных блюдах, особенно в акульем супе. Я прав, мистер Ли?

– Вполне возможно. Я, как эмпирик, интересуюсь лишь внешними качествами съедобных продуктов. И ничего не знаю о метафизике.

– Целая куча словечек, об которые язык сломаешь, – буркнул Крайтон. – Афро... как его там, и я не знаю что.

– Придется признать, что мистер Бутби не нуждается в афродизиаке, – сказал с грубым юмором Гора Сингх. – Суп не ест. Этот мужчина лучше любого из нас, ха-ха-ха. – Гора Сингх налил себе еще почти плотного супа, полил соевым соусом, добавил нарезанный кусочками чили, потом, чавкая, съел с большим удовольствием. Его собственный большой живот вторгся меж ним и столом; суп за время долгих путешествий ложки немного запачкал бороду и грудь рубашки.

После супа подали кисло-сладкие креветки.

– Блюдо инь, – сообщил мистер Радж. – Горячительная еда.

– До чего не везет мистеру Бутби, – заметил Гора Сингх с широкой улыбкой. – Снова рыба, которую он не выносит. Значит, обед у него не слишком удался.

– Все в порядке, – мрачно бросил Бутби. Поставил на стол локти, зевнул: – А-у-у-у-у-у-у!

– Мне давно хотелось узнать, мистер Бутби, – сказал инчи Абу Закария, – не из-за болезни ли это. Поэтому я всегда чувствовал к вам сострадание. Возможно, зевота вызвана заболеванием, о котором я читал.

– Куриная болезнь, – вставил мистер Джервез Майкл. – У нас куры ей

сильно болели. Я сейчас позабыл, как от нее лечили. Одна курица точно подохла.

– Мистер Бутби не курица, – напомнил Гора Сингх, жизнь и душа компании. – Ха-ха-ха. – И навалился на кисло-сладкие креветки, съев не только своих, но и порцию Бутби.

– Не понимаю, о чем вы толкуете, – сказал Бутби. – Если, может быть, кто-то не пожелал пошутить.

Гора Сингх вдруг взревел седобородым хохотом. Положив вилку, сказал:

– Ха-ха-ха, мистер Краббе, краб – рыба. Я только что вспомнил. Ха-ха-ха. Очень забавно. Если мистер Бутби вас попытается съесть, у пего будет сыпь. Ха-ха-ха, очень забавно. – И по-малайски объяснил шутку хадже Мохаммед Нуру. На это ушло много времени, и, когда стало ясно, что сути хаджа никогда не поймет, прибыло очередное блюдо.

– Слушайте, – сказал Бутби, – это розыгрыш, или что? Дадут мне хоть что-нибудь съесть?

– Могу заверить вас, мистер Бутби, – заверил мистер Роупер, – мы ничего не знали о вашей аллергии на рыбу. Когда мне поручили устроить обед, я просто велел здешним хозяевам подать нам разнообразные китайские блюда. Так они пока и делают. Мне очень жаль, что вы рыбу не можете есть. – А потом изящно положил себе порцию *икан мера*, лежавшей под огурцами в мелкой лужице соуса.

– Инь, – сказал мистер Радж.

Следующее блюдо представляло собой безобидную мешанину из жареных овощей. Бутби жадно поел, потом начал икать.

– Лучше всего внезапный удар, – посоветовал Хаиь. – По спине между лопатками.

– Или промеж глаз, – вставил Краббе, – вроде этого. – И вытащил из пиджачного кармана выигрышный лотерейный билет. – Джентльмены, взгляните на номер.

– Так это ваш билет! Ну!

– Я слышал, это городской полицейский.

– Мне говорили, мужчина из Келапа.

– Ну, какой сюрприз.

– Только подумать, это мистер Краббе.

– Вы все в тайне держали, да? – спросил Салмоис.

– И абсолютно правильно.

– Вот это да.

– Мистер Краббе.

– Очень, очень богатый мужчина.

Бутби вылечился от икоты.

– Теперь, – сказал Краббе, – могу вернуться в Англию, когда пожелаю. Много прессе могу сообщить. Даже, может быть, погубить чью-то карьеру. Денег много. Деньги – сила.

– Можете школу открыть.

– На самых научных педагогических принципах, – добавил мистер Радж.

– Можно по свету поездить.

– Никогда больше не надо работать.

– Да.

– Только подумать, что это все время был мистер Краббе.

Все слишком разволновались, чтобы заинтересоваться очередным блюдом. Все, кроме Бутби. Бутби стукнул кулаком по столу и сказал:

– Вы все! Вся ваша чертова шайка! Все работали против меня! Все старались меня погубить! Но только обождите, и всё, обождите. Я всю вашу чертову шайку достану, даже если это будет последнее в моей жизни дело. Замолчите! – рявкнул он на Гора Сингха. – Когда я, черт возьми, говорю, будьте добры заткнуться. Я пока еще директор!

– Я просто переводил для хаджи, – объяснил Гора Сингх. – И не говорите со мной в таком тоне.

– Говорю, как хочу, будь я проклят!

– Бутби, – сказал Краббе, – хватит. Сядьте, ешьте свою дивную рыбу.

Бутби взвизгнул, схватил большое блюдо жареного риса с гарниром из креветок, швырнул его в Краббе. Промахнулся, попав в засиженный мухами портрет Сунь Ятсена.

Потом снизу послышалось монотонное пение.

– Это старшие, – объявил мистер Роупер, повернувшись на стуле и выглянув в окно.

– Их я тоже достану, – бесился Бутби. – Все замешаны. Кто им разрешил выходить, а? Кто им дал разрешение?

– Семестр кончился, – сказал Крайтон.

Уже можно было разобрать слова песни.

– Хотим Краббе! Хотим Краббе! Хотим Краббе!

Бутби триумфально оглянулся с всклокоченными рыжими волосами.

– Видишь, гад. Теперь не отвертишься. Они тебя хотят. Помоги тебе Бог, если они тебя получают.

– Хотим Краббе!

– Видишь! – Бутби устрашающе ухмыльнулся. Потом снизу донесся

один голос, четко прорезавшийся сквозь пение:

– Краббе директором!

Крик был энергично подхвачен. Зазвучали радостные вопли, потом:

– Краббе директором! Краббе директором! Бутби потряс кулаками, стоя во главе стола.

– Насквозь прогнили! Предательство и разложение! Только обождите, и всё, обождите! – Потом, задыхаясь, затопал вниз по лестнице. Слышно было, как он спотыкается и чертыхается на полпути. Потом послышалось, как он рыщет у черного хода в поисках своей машины.

– Теперь можно закончить обед, – заключил Гора Сингх. – Хорошо, что он не остался. Следующие два блюда тоже рыбные. Хоть есть, конечно, мороженое.

– Краббе директором!

Шум сердитых покрышек, раздраженного мотора. Бутби ехал домой. Машина пела вдалеке.

– Прежде чем вы сочтете меня скупым за незаказанное шампанское и сигары, – сказал Краббе, – я лучше теперь объясню, что на самом деле не выиграл в лотерею. Это просто средство от икоты.

– Я так и думал, что номер не выигрышный.

– Да, выигрышный мне хорошо известен.

– Я все время знал, что это шутка. Ха-ха.

– Очень умно.

– Это было очевидно, – сказал мистер Радж. – Вы не из того типа людей, кто когда-нибудь выигрывает крупное состояние. Вы не везучий. По лицу видно.

– Краббе директором! – Теперь не так связно, больше похоже на литургию.

– Ну, какое облегчение, – сказал Крайтон. – Если не возражаете против подобного замечания.

– Он очень разозлился.

– Так и было задумано.

– Ха-ха. Очень хорошая шутка.

– Значит, мистер Краббе снова бедный.

– Ему надо прикончить эту простую пищу и запить чем-то более лукулловым, чем пиво.

– Да, – сказал кто-то. – Бедный Бутби. Никто не скажет, будто он ушел ягненком.

– Он всего-навсего поддельный лев, – сказал мистер Радж. – С искусственными зубами и картонными когтями. Мне его очень жаль.

– Он был неплохим директором, – сказал инчи Джамалуддин, – по сравнению со всеми директорами. За двадцать лет в школе Мансора я знал многих, которые были гораздо хуже.

– Слишком часто выходил из себя.

– Постоянно зевал.

– Британцы, – сказал мистер Радж, – проделали в тропиках героическую работу. Как подумаешь об умеренном, мягком климате на их северном острове...

– Островах, – поправил Макнис.

– ...восхищаешься их фундаментальной силой воли. Пришла пора им покинуть Восток. По крайней мере, пришла пора для тех, кого он не поглотил. Невозможно бороться с джунглями или с солнцем. Сопротивление ведет к безумию. Мистер Бутби безумец. Очень жаль. Если б он остался дома...

– Краббе директором!

– Закройте окно, – сказал Краббе. – Можно вентилятор включить.

– Они уже уходят, – сказал мистер Роупер. – Взрыв энтузиазма у них длится недолго.

– Если б он остался дома, мог бы стать приличным директором маленькой школы. Слишком большую власть получил. Через несколько лет выйдет в отставку, потом будет тянуть пустую жизнь, освобожденный адекватной пенсией от необходимости работать. Люди будут смеяться над ним, не приглашая сыграть вместе в гольф или в теннис. А он будет им докучать невразумительными рассказами о стране, которую так и не сумел понять. Жизнь его будет погублена.

– Моя жизнь тоже будет погублена? – спросил Краббе.

– О да, – спокойно сказал мистер Радж. – Но вас жалеть нечего. Страна вас поглотит, и вы перестанете быть Виктором Краббе. Вы обнаружите, что все меньше и меньше способны делать дело, ради которого вас сюда прислали. Утратите дееспособность и личность. Она вас поглотит, и вы станете очередным чудачком. Может быть, мусульманином. Может быть, позабудете свой английский, по крайней мере утратите английский акцент. Возможно, закончите жизнь в кампонге, перестав быть иностранцем, превратившись в старого коричневого мужчину с массой жен и детей, одним из стариков, к которому будут посылать молодежь за советами в сердечных делах. Вы погибнете.

– Краббе директором! – Пробивалось лишь несколько голосов, уже утративших интерес.

– Этот крик – ваш смертный приговор, – сказал мистер Радж. –

Пролетариат всегда ошибается.

Начался сильный дождь. Летучие муравьи летели к электрической лампочке. Пот блестел на коричневых, желтых и белых лбах. Москиты принялись жалить щиколотки в тонких носках или голые. Голосов снизу больше не слышалось.

– Завтра, – сказал мистер Радж, – проснемся в затопленном мире.



Сержант Алладад-хан – три новых латунных шеврона совсем не блестели в дождевом слабом свете – возвращался по реке из авторемонтных мастерских в Келапе. Сидел, выпрямившись, на корме полицейского катера, Касым за рулем, как всегда, неумелый. Аллах, весь мир теперь был рекой. Река жадно поглотила почти всю центральную улицу, грязные закоулки возле базара, взобралась даже по каменной лестнице старой Резиденции, наверняка подтопив Краббе. Верхушки деревьев кустисто вздымались над серыми простынями воды, змеи приютились в ветвях. Старик китаец стоял у дверей своего дома, моля поток отступить от семейства; его утащил крокодил. Старые лодки опрокидывались или шли ко дну – с непросмоленными швами, – нагруженные домашним скарбом. Дурная, но волнующая пора. Ибо вот он, Алладад-хан, с пытением возвращается на затопленный двор Транспортной конторы, путешествует по водам, подобно пророку Ною, властвует над рекой, даря водам свободу. Аллах, есть нечто более достойное, более приличествующее мужчине, в этом величественном продвижении, чем визг тормозов и рывки колес на ухабистой грязной дороге.

Властвует над рекой, но больше почти ни над чем. Ибо она, как все женщины, быстро приспособилась к отступничеству брата, к предательски обретенному благополучию. Разве не очевидно, что хитроумно устроенный брак продвинет его карьеру? Он ведь теперь встречается со всеми лучшими людьми; что касается его жены, очевидно, такой хороший мусульманин со временем приведет ее к истинной вере. Пьянство – нечто вроде самостоятельно избранного мученичества, просто способ укрепить силу с помощью нужных общественных связей. Сам Абдул-хан ей сказал.

Что касается ее отношения к нему, к Алладад-хану, что ж, почти так же, как прежде. Не считая того, что она вполне довольна его повышением, горда ранением в руку, утешена подарками, которые ему удалось купить на деньги, щедро и без отдачи выданные Адамс-сахибом. Он, Алладад-хан, решил, что ребенок не лишен с ним сходства – неагрессивный нос, интеллигентный лоб, глаза одновременно живые и томные. Теперь нянчил дитя на руках, напевал пенджабские старые песни; она одобряла подобные проявления отцовских любящих чувств. Время от времени позволяла ему уходить, не слишком жаловалась, когда он являлся с яркими глазами и

шаткой походкой. Одного только все-таки не допускала: чудовищно сексуального акта из американских и европейских фильмов, но теперь вполне снисходительно принимала прочие супружеские домогательства.

Хорошо также, думал Алладад-хан, что он создал нечто, чему можно радоваться, ибо скоро лишится друзей. На второй день после Рождества чета Краббе улетит в другой штат; а еще через месяц Адамс-сахиб навсегда покинет Федерацию. Он, Алладад-хан, останется в одиночестве. Хотя, возможно, избавится от полного одиночества, выращивая сад на завещанных ему нескольких клочках земли. Постарается любить жену, беречь и лелеять дочь, продолжит изучение английского, заведет полку книг, несколько картин на стенах. Возможно, у него когда-нибудь будет сын, а когда выйдет в отставку, вернется в Пенджаб, будут несколько акров, коровы и лошади, множество молодняка, посиделки у зимнего очага, легенды о нем, Алладад-хане, – солдате, мечтателе, полицейском, космополите, образованном, вольномыслящем. Не много, но все-таки кое-что.

Ей захочется назвать сына Абдул-ханом, но тут он решительно скажет свое слово.

Алладад-хан с интересом заметил весело катившуюся среди редкого быстроходного речного транспорта лодку с раджей и его новой любовницей. Раджа – распутный молодой человек в европейском костюме. Алладад-хан хорошо знал его в лицо. Девушку знал еще лучше. Это бывшая любовница Виктора Краббе. Теперь она казалась довольно счастливой в красивом байю, в недомерке саронге, с позолоченной сумочкой, с кольцами в ушах из келантанского серебра и со своим распутным, но, может быть, мужественным молодым раджей. Аллах, у женщин никакой верности.

Ни у одной, кроме одной.

В Келапе он видел неверного парня, болтавшегося вокруг, миньона пузатого плантатора. Видел в лавке возле автомастерских, где тот самый парень покупал еду для бунгало, но также тратил сумасшедшие деньги на дешевые безделушки и детские игрушки, – уборная для кукольного дома, попрыгунчик, бумажные цветы и восковые фрукты. Парень провокационно повел девичьими плечами перед Алладад-ханом, взбил крашенные волосы. Мир ускорявшейся лодкой мчался к последнему краху. Друзья уезжают, женщинам и парням нельзя верить, Бога, может быть, нет. Впрочем, остается квартира в полицейских казармах, длинноногая жена с каннибальскими зубами, младенец, постель, шипящие, прыгающие на плите чапатти.

И вещи, которые хочется помнить.

– Касым! – крикнул он. – Дурак чертов! Глупый ублюдок! – Потому что Касым угрюмо летел прямо в стену двора Транспортной конторы, не снижая скорости, и нос лодки готовился пулей вонзиться в красный кирпич. Алладад-хан перехватил руль.

– *Минта мааф*, капрал, – сказал Касым.

– Сержант, – поправил Алладад-хан, – сержант. Аллах, ты что, никогда не научишься? Три полосы – сержант.

– У меня столько всего на уме, – оправдался Касым. – Жена новая, с деньгами трудно. Я с радостью был бы простым капралом.

– Продвигается тот, кто способности проявляет.

– Это несправедливо. У вас всего одна жена, вы не нуждаетесь в деньгах, которые получаете, как сержант. У меня теперь три жены, это очень тяжело.

– Хари Сингху обещан чин капрала. Допустим, у него столь же мало способностей в вопросах транспорта, как у тебя, но он хоть знает английский, играет в футбол за полицию округа.

– У меня на подобные вещи времени никогда нет, капрал.

– Нет Бога, кроме Аллаха, – выругался Алладад-хан. – Никогда не научишься?

– Но у меня возможности не было ходить в вечернюю школу. Дома столько всяких дел.

– Не будем больше говорить, – сказал Алладад-хан, останавливаясь, чтоб медленно продвинуться на несколько дюймов по водам потопа. – Жди здесь. Мы скоро вместе с туаном пойдем к большому школьному зданию на холме. Приготовься взять на борт много баранга. Сегодня у христиан большой день. Называется Сочельник. Празднуется рождение пророка Исы.

– Поэтому сегодня выходной.

– Да. И завтра. Предупреждаю тебя, дома делай как можно меньше. Нам надо, чтобы ты был готов к дальнейшей работе. Повези своих жен погулять по реке. Ты вступаешь в тот возраст, когда надо силы беречь.

– Да, капрал, – согласился Касым.

Вечер Сочельника обещал расцвести и красиво поблекнуть над водами. Сквозь дождевые тучи на западе пробился теплый свет, осветил волосы джунглей, радужно расцветил туманные дебри на вершинах гор. Краббе с женой стояли высоко над городом, забравшись па крышу покосившейся дозорной башни, глядели на залитые водой улицы, на огромную вспухшую реку, на скользившие или пыхтевшие на ней суда. Даже внизу, под самым верхним пролетом каменной лестницы, прыгали и плыли лодчонки. В одной из них знакомая фигура ехала на буксире домой. Краббе махнул, и фигура махнула в ответ с тонким смехом, слабо прозвеневшим над мокрой пустыней.

– *Мисти лулус! Хе-хе-хе-хе!*

Потом, по-прежнему улыбаясь, хихикая, унеслась к жене, к семерым детям, к крыше крошечного затопленного дома.

– Сочельник, – сказала Фенелла. – Холодные улицы, теплые пабы, возбужденные дети. Дружеские чувства в коротком нереальном пространстве, тосты, хлопки по спине. Ради того, чего они даже не понимают, не говоря уж о вере. И колядки. – Запела, немзыкально, не попадая в мелодию:

Когда вырастут плющ с остролистом  
Выше самых высоких деревьев...

Потом закрыла лицо руками, всхлипнула. Краббе успокоил ее.

– Здесь это никакого значения не имеет, – сказал он. – Это земля более молодого пророка. Но, кем бы он ни был, вполне мог тут родиться, в более подходящем месте, чем среди зимних снегов. Тукай кричат «ату» сворам в кампонгах, дети глядят из дренажных капав, – хотя это, конечно, сейчас невозможно, – поиски комнаты в китайских гостиницах. Потом *лимбу* в сикхских яслях, роды в запахе навоза.

– Ничего не могу поделать, – сказала Фенелла, утирая глаза. – Всегда одно и то же. Наверно, что-то связанное с утратой невинности.

Быстро замерцал блик света, словно спущенная со спиннинга леска. Снизу послышалось приближавшееся пыхтение и оклик:

– Эгей!

Краббе с Фенеллой взглянули вниз, увидели причаливший к ступеням катер, огромного мужчину, раздраженно разговаривавшего на урду, несколько ящиков, перегруженное суденышко.

– Эгей!

– Проклятая штука чуть не перевернулась, – донеслось издали ворчание. – Пришлось выбросить за борт один чертов ящик «Якоря».

– Я спущусь, помогу! – крикнул Краббе.

Труд был медленный, потный – таскать вверх по лестнице ящики пива для Нэбби Адамса, шерри для Алладад-хана, шампанского для четы Краббе, к почти пустой квартире. Пансионных боев призывали на помощь. Нэбби Адамс царственно распределял благодарность.

– *Терима касен, тпуан.*

– *Терима касен.*

– *Терима касен банъяк, тпуан.*

– *Сама, сама,* – сказал Алладад-хан.

– *Самсу самсу,* – сказал Нэбби Адамс. – В любом случае, чем он себя возомнил, черт возьми? Это мои распроклятые деньги, а не его.

Нэбби Адамс, снисходительный к слабости окружающих, принес холодную курицу и пироги со свининой, банки ветчины, куски сыра, булки, подтаявшие пачки масла, фрукты, мармелад, банки с маринованным луком, грибы в банках, инжир, шоколад, леденцы от кашля, суп в банках, голландские сигары, креветок в банках, копченую лососину, паштет в банках, крутые яйца, кусок мяса для истекавшей слюной собаки, радостно подметавшей хвостом лестницу.

– Захотела пойти, – объяснил он. – Выскочила из окна, черт возьми, и поплыла за нами. Поэтому пришлось втащить ее в лодку.

Сидели в креслах без чехлов в лишенной картин, лишенной книг квартире. Только групповой снимок, доставленный утром почтовой лодкой, слишком запоздавший для укладки в ящики и коробки.

– Старший класс, – сказал Краббе, – а вон я в центре в первом ряду.

– Что это за китаец с черным глазом? – спросил Нэбби Адамс.

– *Мусо далам селимут,* – сказал Краббе. – Враг под покрывалом. Только его больше нет. Уехал в Сингапур. Там больше возможностей в китайских школах.

Раздались далекие выстрелы.

– Все свое, – сказал Нэбби Адамс. – Даже в Сочельник не унимаются. – В бутылочные пробки вонзились штопоры, вытащили, откупорили. Пили все из пивных стаканов.

– Значит, решили, Нэбби? – сказал Краббе.

– Да. Вернусь в Бомбей. Там осяду. Нету другого такого места.  
– Но что будете делать? – спросила Фенелла.  
– Да фактически ничего, миссис Краббе. Просто жить буду. Нету другого такого места, как Бомбей.  
– Там пить нельзя, – сказал Краббе. – Сухой закон.  
– Ну, – сказал Нэбби Адамс, – на самом деле мне можно. – Смотрите. – И вытащил из набитого деньгами бумажника смятое письмо. Краббе разгладил его и прочел:

«Сим удостоверяется, что предъявитель сего признан алкоголиком и имеет право на приобретение опьяняющих напитков в любом отеле, где он их потребует.

*П. Вивекананда, бакалавр медицины, бакалавр хирургии, Мадрас».*

– Если захотите выпить, когда будете в Индии, миссис Краббе, – серьезно сказал Нэбби Адамс, – просто получите такую бумажку. Не будет никаких проблем.

Они пили и ели. Нэбби Адамс довольствовался кусочком сыра и кусочком хлеба. Алладад-хан рвал курицу зубами.

– Меня просто тошнит, на него глядя, – сказал Нэбби Адамс, – когда он вот так жрет. Что бы ни делал, никакой умеренности. А ведь я ему до всего этого выхлопотал три проклятые нашивки, потому что мне требовались лишние деньги, которые он получил бы. И никакой благодарности, черт побери. – Он долго говорил на урду. – И в Бомбей со мной ехать не хочет. Говорит, тут останется. Ох, – сказал Нэбби Адамс, – кстати, вспомнил. Вы оба к нам с ним по-настоящему хорошо относились. И берегли для меня тот билет, чтобы я его не потерял, черт возьми. Ну, получите десять процентов. Это только справедливо. Тридцать пять тысяч. Я их на ваше имя в банк уже положил.

– Но мы правда не можем...

– Это страшно любезно, по...

– Вы всегда говорили, что хотите вернуться домой, открыть школу, паб, еще чего-нибудь. Ну, вот вам шанс. Что такое для меня тридцать пять тысяч?

– Страшно мило, – сказала Фенелла, – но на самом деле...

– Не думаю, будто она сейчас хочет ехать домой, – сказал Краббе. – Здесь хочет остаться.

– Да, – сказала Фенелла. – Хочу здесь остаться.

– Ну, деньги все равно возьмите, – сказал Нэбби Адамс. – Замечательно, черт побери, можете их профукать. – И в ужасе замер. – Я не хотел, честно, просто как бы вылетело, миссис Краббе, честно, простите, правда.

– *Ап хуч караб болта*, – сказал Алладад-хан.

– И скажу кое-что похуже, черт побери, если будешь меня одергивать, – сказал Нэбби Адамс. – Заважничал, как получил три нашивки. – И произнес длинную речь на урду. Алладад-хан индифферентно обрабатывал куриную ногу.

Они пили и ели.

– Сочельник, – сказал Нэбби Адамс. – Я обычно качал распроклятый орган для колядок, вечно чуть не описеешься... – И застыл в ужасе.

– Ну а как еще можно сказать? – быстро вставил Краббе.

– Точно, – сказал Нэбби Адамс с серьезной теплотой. – Как еще можно сказать? В любом случае, одна особенно нравилась, больше псал, чем рождественская колядка. – Откашлялся, прочистил горло и запел замогильным басом:

О, все верные, придите,  
Возрадуйтесь, возликуйте,  
О, придите, о, придите  
В Вифлеем.

Фенелла заплакала, и Алладад-хан произнес на ворчливом урду серьезное озабоченное заявление.

– Извиняюсь, миссис Краббе, знаю, голос у меня не особенный, а вы музыкальная, и все такое, только я не думал, что заставлю вас плакать, честно.

Выпивали; вечер лился пузырящимся длинным потоком, пенистым пивом, ароматным спиртным; Алладад-хан пел по-пенджабски охотничью песню, серьезно обращался к супругам Краббе на урду, супруги Краббе обращались к Нэбби Адамсу по-малайски, Рождество начинало больше смахивать на Пятидесятницу, пустые бутылки громоздились Вавилонской башней.

Наконец Нэбби Адамс взглянул на плантаторское кресло на веранде и сказал:

– Всего пять минут.

Алладад-хан тихо пел про себя с остекленевшим взглядом, с бутылкой

шерри в руке. Краббе запел контрапунктом, звучно, серьезно:

Когда вырастут плющ с остролистом  
Выше самых высоких деревьев в лесу,  
Остролист превратится в корону.

Алладад-хан позволил ему петь самому по себе, побледнел под теплым коричневым, метнулся в уборную. Фенелла плакала и плакала.

– Всю душу, – сонно сказал Нэбби Адамс. Потом мягко захрапел, собака, бряцая, искала блох под плантаторским креслом, еще не ведая о своем переезде в Индию.

Фенелла всхлипнула. Краббе обнял ее и утешил. Потом прозвучала полночь на часах полузатопленной башни. Над остатками еды, выпитыми бутылками, писком насекомых, оружейной стрельбой, храпом, позывами рвоты он пожелал ей счастливого Рождества.



## Словарик

*Ада байк* – все в порядке; у меня все хорошо, спасибо (*малайск.*).

*Ама* – нянька; служанка (*малайск.*).

*Ап хуч караб болта* – нехорошие слова говоришь (*урду*).

*Аттап* – лачуга из пальмовых листьев (*малайск.*).

*Ачча* – верно; отлично; прекрасно (*урду*).

*Байк-ла* – очень хорошо (*малайск.*).

*Байт* – вид одежды, туника, кофта (*малайск.*).

*Баранг* – имущество, багаж, в целом вещи (*малайск.*).

*Биляль* – муэдзин; служитель в мечети, призывающий к молитве (*араб.*).

*Бинт* – женщина (*араб.*).

*Вакту* – время молитвы, одно из пяти за день (*араб.*).

*Вайянг кулит* – яванский театр теней.

*Ванъ* – деньги (*малайск.*).

*Налам* – в (предлог) (*малайск.*).

*Джамбан* – уборная (*малайск.*).

*Дуа* – два (*малайск.*).

*Дхоби* – стирка, прачка (*урду*).

*Дхоти* – одежда индусов, кусок ткани, обернутый вокруг тела (*урду*).

*Дьям* – тише; заткнись (*малайск.*).

*Икай мера* – малайская рыба (букв.: красная рыба) (*малайск.*).

*Иту чантек* – мило, прелестно (*малайск.*).

*Кампонг* – деревня (*малайск.*).

*Кeday* – лавка, магазин (*тамил.*).

*Кира* – счет (*малайск.*).

*Куали* – жаровня, сковорода (*малайск.*).

*Куки* – повар (*малайск.* от *англ.* кок).

*Лаук* – продукты (рыба, мясо и пр.), которые подаются с рисом (*малайск.*).

*Лима* – пять (*малайск.*).

*Лобанг* – дыра (*малайск.*).

*Маалум-ла* – знаешь; видишь; вот так (*малайск.* от *араб.*).

*Малам* – вечер, ночь (*малайск.*).

*Макан* – есть; пища (*малайск.*).

*Макан малам уни* – ужин (*малайск.*).

*Макан суда съяп* – кушать подано (малайск.).

*Мердека* – свобода, освобождение. Боевой клич Национальной Организации Объединенной Малайи (малайск. от санскр.).

*Ми* – вид макарон (кит.).

*Минта ма'аф* – простите, пожалуйста; прошу прощения (малайск. от араб.).

*Мисти лулус* – надо сдать (экзамены) (малайск.).

*Мунши* – преподаватель языков (хинди).

*Н арака* – ад (араб.).

*Ноня* – наименование замужней китайки (малайск.).

*Оранг путе* – белый человек, европеец (малайск.).

*Паванг* – колдун, предсказатель (малайск.).

*Паданг* – открытое пространство, полоса земли, деревенская лужайка (малайск.).

*Пенанггалан* – дух-вампир, который представляет собой одну голову и волочащиеся внутренности (малайск.).

*Ринггит* – доллар (малайск.).

*Ронггенг* – популярный в Малайе яванский танец (малайск.).

*Сайя* – я (малайск.).

*Сайя тада вань* – у меня денег нет (малайск.).

*Сайя тида менгерти* – я не понимаю (малайск.).

*Сама сама* – оборот, использующийся в ответ на *терима касен* (спасибо); и вам того же желаю (малайск.).

*Самсу* – дешевый китайский рисовый спирт (кит.).

*Сату ботол* – одна бутылка (малайск.).

*Селамат* – благополучие, безопасность; используется в разнообразных приветственных и прощальных формулах (малайск. от араб.).

*Селамат джалан* – прощай (букв.: благополучной дороги) (малайск.).

*Сила дудок* – садитесь, пожалуйста (малайск.).

*Сонгкок* – круглая бархатная шапочка мужчин-малайцев (малайск.).

*Стенга* – полпорции; так говорят европейцы, заказывая маленькую порцию виски с водой (малайск.).

*Сьяп мейя* – приготовь (бильярдный) стол (малайск.).

*Так валлах* – мужчина, который все берет и ничего не дает; скупец (сленг служивших в Индии солдат).

*Терима касен* – букв.: принимаю с любовью, используется вместо «спасибо» (малайск.).

*Тида'ана* – не имеет значения (малайск.).

*Туан* – господин, сэр. Европейцев именуют «туан», малайцев –

«хаджа» и потомками Пророка (*малайск.*).

*Туан безар* – большой человек, начальник (*малайск.*).

*Туан бели саюр?* – туан купил овощей? (*малайск.*)

*Туан каси лима лингит* – туан дал мне пять долларов (*малайск.* с китайским произношением).

*Тукай* – китаец: хозяин или владелец магазина (английское произношение романской малайской транскрипции китайского слова «таук»).

*Хабар* – новости. *Апа хабар* – букв.: что нового? Обычное малайское приветствие (*араб.*).

*Хаджа* – человек, совершивший паломничество в Мекку (*араб.*).

*Ханту дапур* – дух кухни (*малайск.*).

*Харам* – религиозный запрет (*араб.*).

*Хела* – ярд (материи) (*малайск.*).

*Чарпой* – постель (*урду*).

*Шукрия* – спасибо (*урду*).

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

Бертон Роберт (1577–1640) – английский философ, автор «Анатомии меланхолии», резюме медицинских и религиозных взглядов своего времени. *(Здесь и далее примеч. перев.)*

Любовь к странствию (фр.).

Клаф Артур Хью (1819–1861) – английский поэт, многие произведения которого полны безверия и унылого скептицизма.

НААФИ – военно-торговая служба британских ВМС, ВВС и сухопутных войск.



5

Два метра и три с небольшим сантиметра.

Восточные слова и выражения объясняет авторский словарь в конце книги.

Британский военный и административный контингент в Малайской Федерации, находившейся до 1957 г. под британским протекторатом.

Тодди – здесь: перебродивший пальмовый сок.

Пантун (пантум) – поэма в строго определенной форме с песнями из четырех строк, рифмующихся через одну.

Нападения (*лат.*).

Святой Франциско Хавьер (1506–1552) – католический миссионер.

Нумен – здесь: имя Божие (*лат.*).



Аче, буги – народы Индонезии.

Рафлс, сэр Томас Стамфорд (1781–1826) – британский колониальный деятель, резидент в Малайе.

Крис – малайский короткий меч или тяжелый кинжал с изогнутой рукояткой.

Вульфстан, архиепископ Йоркский (ум. 1023), возвещал о пришествии в 1000 г. антихриста из племени Дана, одного из двенадцати сыновей Иакова, которому предстояло судить свой народ.

Принц-консорт – Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг королевы Виктории.

Конкубинат – сожительство (в римском праве).

Скрамбл – кросс по пересеченной местности.

Фаг – младший ученик, прислуживающий в привилегированной школе старшему.



Стрейтс-Сетлментс – британские колонии на Малайском полуострове.

Фирменная жесткая соломенная шляпа учеников престижной английской привилегированной школы Харроу.

Игра слов: по-английски «лайт» означает свет; «берч» – розга; «рафл» – лотерея; «лоу» – низкий.

Хакка – одна из семи основных диалектных групп китайского языка.

Ньюболт Генри Джон (1862–1938) – английский поэт и историк флота.

НООМ – Национальная организация объединенной Малайи.

Мейда-Вейл – улица в северо-западной части

«Вудбайн» – трубка из жимолости.



Снукер – вид бильярдной игры.

«Золотая ветвь» – фундаментальное исследование фольклористики и истории религии английского религиоведа и этнолога Джеймса Фрэзера (1854–1941).

Игра слов: по-малайски «байк, – хорошо, по-английски – велосипед.

«Корзиночка» – детская игра, когда натянутую на пальцах бечевку надевают на пальцы партнера, образуя разные фигуры.

Ланкаширское рагу – тушеная баранина с картошкой и луком.

Горгонцولا – белый твердый итальянский сыр с плесенью.

Давай, сострадай, властвуй над собой (*санскр.*).

Последнюю часть поэмы «Бесплодная земля» под названием «Что сказал гром» Элиот заканчивает заключительными словами из «Упанишад», которые означают «покой, превышающий всякое понимание».



Ночь Гая Фокса – вечер 5 ноября, когда в Англии по традиции сжигают пугало и устраивают фейерверк в память о раскрытии «Порохового заговора» во главе с Гаем Фоксом, устроенном в 1605 г. католиками с целью убийства короля Якова I.

«Фиксация на травме, бессознательное» – лекция Зигмунда Фрейда.

Нэбби Адамс носит имя Авель – так звали сына Адама, убитого Каином.

Помми – английские иммигранты в Австралии.

Афродизиак – средство для усиления полового влечения.